# ВРЕМЯ И МЫ

76

1984

*В ЭТОМ НОМЕРЕ:* АНТИВРЕМЯ. МОСКОВСКИЙ РОМАН ● ТЕАТР АБСУРДА ● МОТИВЫ СИЕНЫ ● О МЕРТВЫХ ДЛЯ ЖИВЫХ ● РОССИЯ НАД ПРОПАСТЬЮ ● СОВЕТСКАЯ АГЕНТУРА В ТОКИО

*Исраель Эльдад*

**Еврейская аномалия в трех измерениях**

*Джон Баррон*

**КГБ сегодня**

*Илья Глезер*

**Американский студент**

# ВРЕМЯ И МЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОБЛЕМ

*Десятый год издания*

**Выходит один раз в два месяца**

76

1984

НЬЮ-ИОРК-ИЕРУСАЛИМ—ПАРИЖ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ" - 1984

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД
МИХАИЛ КАЛИК
АРОН КАЦЕНЕЛИНБОЙГЕН
АСЯ КУНИК *(отв.секретарь)*
ИЛЬЯ ЛЕВКОВ
ЛЕВ НАВРОЗОВ
КАРЛ ПРОФФЕР
ИЛЬЯ СУСЛОВ
ДОРА ШТУРМАН *(зам.гл.редактора)*
ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ
ЕФИМ ЭТКИНД

Израильское отделение журнала "Время и мы"
Заведующая отделением Дора Штурман
Адрес отделения: Jerusalem, Talpiot mizrach, 422/6

Французское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Ефим Эткинд
Адрес отделения: 31 Quartier Boieldieu, 92800 PUTEAUX FRANCE

*Представители журнала:*

Англия Александр Штромас
Croft House, Top Flat 32 New Hey Road Rastrick,
Brighouse W. Yorkshire HD6 3PZ ENGLAND

Западный Берлин Juscwa Mischijew
Hussiten Str. 60, 1000 Berlin 65

OCR и вычитка - Давид Титиевский, июль 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

# СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

*Виктор ПЕРЕЛЬМАН*
Театр абсурда . . . . . 5

*Борис ХАЗАНОВ*
Антивремя. Московский роман . . . . . 62

ПОЭЗИЯ

*Глеб СЕМЕНОВ*
Под знаком нарастанья . . . . . 99

*Алексей ЦВЕТКОВ*
Попусту время верстает шаги . . . . . 102

*Борис ПОЛЯКОВ*
Мотивы Сиены . . . . . 109

ПУБЛИЦИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ. КРИТИКА

*Лев ТИМОФЕЕВ*
Последняя надежда выжить . . . . . 114

*Исраель ЭЛЬДАД*
Еврейская аномалия в трех измерениях . . . . . 140

*Илья ГЛЕЗЕР*
Американский студент . . . . . 153

*Мира БЛИНКОВА*
О мертвых для живых . . . . . 171

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

*Джон БАРРОН*
КГБ сегодня *(Перевод И.Косинского)* . . . . . 181

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

Гавриил Гликман на Западе . . . . . 242

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

©"Время и Мы"

ISSN 0737-7061

*Виктор ПЕРЕЛЬМАН*

# ТЕАТР АБСУРДА

*Комедийно-философское повествование о моих двух эмиграциях*

*Главы из книги*

## ЗАЛП "АВРОРЫ"

— Женюрка! Вставай! "Время и мы" везут!

Да, дорогой читатель, я смею утверждать, что фраза эта прозвучала в моей жизни, как залп "Авроры". С той, правда, разницей, что никакого залпа "Авроры" в истории вообще не существовало, а приведенная выше фраза, действительно, была воскликнута. Кем? Инженером Сэмом Житницким в один из первых дней ноября 1975 года. Произошло это на лестничной площадке третьего этажа, дома номер 46, по улице Ибн-Гвироль, в Тель-Авиве.

Есть у моей памяти некое странное свойство — выхватывать из торжественных, судьбоносных дней прошлого самое смешное и нелепое, а самое существенное, напротив, предавать забвению.

Так случилось и с первым номером журнала "Время и мы". Мы спорили до хрипоты о его содержании и оформле-

*Окончание. Начало см. № 74, 75.*

нии, и еще до выхода журнала поредели ряды его основателей. Но убейте меня, чтобы я вспомнил, кто именно предложил открыть журнал романом Кестлера "Тьма в полдень" и как дошли до мысли ехать в Иерусалим к раввину Штейнзальцу и брать у него интервью.

С этим первым номером я не вылезал из типографии Бени на улице Амазгер. Беня печатал, а я стоял рядом и руководил, когда поддать краски, когда убавить. Но сколько это продолжалось, опять же не помню, — все провалилось в бездонном колодце памяти.

А сохранилась — даже неловко вспоминать! — глупейшая сцена, разыгравшаяся между хозяевами квартиры, которые сдали нам комнату для редакции будущего журнала. Квартира принадлежала только что вернувшимся из свадебного путешествия по Галилее Семе и Жене Житницким, и сцена между ними произошла на лестничной площадке, у входа в редакцию.

Как и полагается молодоженам, они были амбициозны и вспыльчивы и прежде всего это относилось к нему, шестидесятипятилетнему новому оле из Запорожья. Еще немного, читатель, и он станет одним из главных героев этой главы (к тому же, как мы узнаем, именно он возвестит миру о рождении журнала "Время и мы"). Поэтому я позволю себе сказать пару слов о его не лишенном колорита облике.

В отличие от хозяина моего офиса на Пятой авеню Матвея Абрамовича Гилдесмана, несшего на себе черты воротилы Уолл-Стрита, Сема был представителем другого мира, не знающего власти капитала. Он не перебирал, как Гилдесман, нежно ножками, а ходил тяжелой, вразвалку походкой. Вместо солнечной гилдесмановской улыбки с Семиного лица никогда не сходило выражение перманентной озабоченности. И вообще он был человеком безо всяких там цирлих-манирлих. И, если, например, приходило время платить квартплату, он не слал мне никаких сердечных приветов, а запросто заходил и говорил: "Редактор, прошел месяц, гони деньгу!"

Но надо при этом сказать, что был он человеком добродушным и в высшей степени активным. И не пропускал ни



единого олимовского собрания, где, по обыкновению, крыли Сохнут и министерство абсорбции. На одном из них мы и познакомились. По дороге домой он рассказал, что был в прошлом изобретателем, что есть еще порох в пороховнице, хотя в последнее время он все больше отдает себя чтению и не начинает дня, пока не прочтет от корки до корки "Нашу страну".

Однажды, повстречавшись со мной на улице Ибн Гвироль, Сема сказал, что он женился на очень славной и интеллигентной женщине.

— Да, хочешь, сейчас познакомлю, — вдруг предложил он. — Ты просто не представляешь, что это за человек... И, не дождавшись моего согласия, он взял меня под руку. — Угадай, на кого моя Женюрка похожа?.. На спор — не угадаешь... На Марину Мнишек! Помнишь "Богдана Хмельницкого"?

Женюрку мы застали возлегавшей на диване с журналом "Клуб" в руках. На ней был розовый китайский пеньюар, и вся она, в отличие от меланхолично-озабоченного Семы, оказалась веселым, благоухающим, хоть и несколько раздобревшим созданием лет шестидесяти. Ничего общего с Мариной Мнишек я в ее облике не обнаружил. И, если и было в ней что-то замечательное, так это произношение, особенно, когда вместо "р" она с каким-то особым шармом произносила свое непередаваемо-прекрасное гортанное "х".

— Пихожок! Пихожок с чаем, господа, — весело захлопотала она вокруг стола, — пихожок с вахеньем!

По словам Семы, Женюрка в годы юности окончила Рижскую гимназию и сблизили их исключительно общие культурные интересы. И, когда Сема предложил сдать помещение журналу "Время и мы", Женюрка чуть ли не с обидой воскликнула:

— Что за вопрос, Семочка! Ты меня еще спрашиваешь!

Квартира была роскошной, а инкрустированный бронзой подъезд на улице Ибн-Гвироль, 46 чем-то напоминал наш вход на Пятой авеню, но в отличие от воротил Уолл-Стрита здесь обитали средней руки тель-авивские евреи. И в их числе на третьем этаже вел прием престарелый врач-дантист из Риги

Бенцион Блуштейн. Когда Блуштейн ушел в лучший мир, вся его квартира площадью в 150 квадратных метров перешла его супруге Жене. А дальше, читатель, вам уже все известно. Женя вышла замуж за нового оле из Запорожья Сэма Житницкого, и по обоюдному согласию молодожены предложили к услугам журнала "Время и мы" свою роскошную квартиру. То есть, конечно, не всю квартиру, а лишь боковую и напоминающую пенал восьмиметровую комнату, в которой, по подсчетам Семы, — если не быть барами — вполне могли уместиться три сотрудника.

По договору с Житницким, никаких вывесок на входной двери редакция вешать не могла (дабы не нагрянули муниципальные инспекторы и не наложили на молодоженов налога) . Поэтому красовались тут лишь две медные дощечки: первая покрупнее "Инженер Сэм Житницкий", вторая помельче и без всяких титулов "Женя Житницкая". Вторая — для порядка, а первая как свидетельство того, что на смену ушедшему в лучший мир дантисту Блуштейну пришел не какой-нибудь там шаромыжник, а человек достойный, инженер Сэм Житницкий.

К тому же и не просто инженер, а инженер действующий: дверь в дверь с редакцией находилась Семина лаборатория, где он ставил опыты по получению дешевых сортов бензина из биологических отходов. Вся стена напротив его рабочего стола, уставленного бутылями и колбами, была увешана почетными грамотами и патентами. Но больше всего места занимала диаграмма, показывающая, сколько можно получить бензина, если подвергнуть биохимической обработке все городские отходы Тель-Авива.

Но, судя по всему, получение из них бензина у Семы продвигалось довольно медленно, и потому, сразу же после моего появления в редакции, он обратил свою энергию на подготовку первого номера журнала. Каждое утро он заглядывал в редакцию и, окидывая ее недовольным взглядом, принимался меня донимать, когда же наконец привезут из типографии журнал.

— Дал бы ты, редактор, мне, я бы уж восемь номеров выпустил! Всех бы вас на "Запорожсталь"!



Так вот, в день, когда привезли журнал, и произошла эта дурацкая сцена на лестнице.

Началось с того, что Сема высмотрел в окне появление Бениного грузовичка, доверху груженого журналами. Я сидел в кабинке, рядом с Беней, и сам не видел, как разыгралась эта сцена на лестничной площадке. Но началось с того, что Сема, заметив наше приближение, выскочил прямо в своих синих, еще из Союза, трусах на лестницу и как угорелый вскричал: "Женюрка! Вставай! "Время и мы" везут!". Вот так и прогромыхал мой залп "Авроры".

Но Женюрку что-то определенно вывело из себя — то ли абсолютная алогичность Семиного поступка, то ли, что на лестницу он выскочил в неглиже — вы же помните, читатель, эти синие москвошвеевские трусы! — и она, превыше всего отстаивавшая в глазах соседей свое реноме интеллигентки, не выдержала:

— Сема! И ты позволяешь себе выходить в таком странном виде?!

Надо сказать, это прозаическое замечание вызвало у него лишь приступ раздражения.

— Ой, простите! — воскликнул он, — если я оскорбил ваше женское достоинство и вышел без штанов!

Она тоже не осталась в долгу, и, когда мы с Беней доставили наверх первые связки журналов, сцена была уже в разгаре. Зато, когда поднимали последние, между молодыми воцарился мир, о чем можно было судить по тому, с какой любовью Женюрка натягивала на мужа трикотажные тренировки. Он же декламировал на всю лестницу напечатанный на журнальной обложке девиз: "Среди неверия и суеты, в мире, где грубая сила и ложь становятся нормой отношения между людьми, мы исполнены одной лишь целью — помочь читателю лучше разобраться во времени и в себе!"

— Ну, что тебе сказать, редактор, неплохо подработано. Но журнал мог быть лучше, если бы меня слушались...

— Вы слышали, его не послушались, асессор! — засмеялась Женюрка.

— Да, как-никак разбираемся не хуже вас. Насчет еврейской тематики говорил? — Говорил! С антисоветчиной пере-

бор — тоже говорил. А с этим рабби Штейнзальцем? Да на что тебе этот раввин вообще сдался?!

Так выглядел первый критический обзор журнала "Время и мы". Молчала "Русская мысль", молчал "Континент", молчали "Грани". И лишь Сема Житницкий, выбежав в одних москвошвеевских трусах на лестничную площадку дома 46 по улице Ибн-Гвироль, возвестил миру о его появлении.

Но моя склонная ко всяким проказам память выхватила не только это, а и то, что творилось вокруг выхода первого номера. И опять же не реакцию израильской общественности, которую не помню вовсе, а нечто совсем противоположное и напоминающее встречу с дядей Солом. Только на этот раз на месте дяди Сола (который, как мы помним, дальше моральной поддержки журнала не пошел) находился бывший министр финансов и председатель Сохнута Пинхас Сапир.

Сапир был очень стар и, пока я в присутствии его помощника Журини расписывал, как алие нужен литературный журнал, он незаметно задремал, но стоило мне сказать, что журнал станет хорошим бизнесом, он сразу проснулся и весело подмигнул Журини.

— Ты же понимаешь, аидыше бизнес!

Да что там Сапир! Когда в самой алие не было единодушия — помогать или не помогать новому изданию, о чем свидетельствовал специально созванный по этому поводу президиум объединения новых олим.

Даже с этого заседания, на котором, кажется, выступило более двадцати ораторов, я вынес нечто такое, что в глазах другого автора вообще не заслужило бы внимания. А именно, выступление моего старого знакомого и соседа по Бейт-Бродецкому Изи Йонаса, который возглавил к тому времени объединение новых олим. Изя произнес заключительное слово. Но, как увидит читатель, он мог бы его не произносить вовсе — результат был бы тот же.

Изя начал с того, что он от всего сердца приветствует создание в Израиле литературно-общественного журнала на русском языке. Все знают, какое значение он придает вопросам культуры и сколько раз беседовал на эту тему с министром абсорбции Шлемой Розе.



При упоминании Шлемы Розе три члена президиума, сидящих у двери, незаметно выскользнули из зала, а представитель грузинской алии Серго Имидашвили выразительно постучал по часам: "Товарищ Йонас, дорогой, ваши предложения!"

— Вот именно к этому я и хотел перейти, — сказал Изя и неожиданно мне улыбнулся. — Ты только, Витя, правильно меня пойми. Я за то, чтобы помочь твоему журналу, но вправе ли мы это сделать?

— Товарищ Йонас, ты меня извини, "да" или "нет", — снова перебил его Имидашвили.

— Вот именно, дорогие друзья, — "да" или "нет"? Я надеюсь, господин Перельман понимает, что мне хотелось бы сказать "да". Но здесь во мне что-то протестует, — Изя выразительно постучал себя по сердцу. — Не чувствую я, Витя, в твоем начинании общественной жилки.

— Подождите, подождите, товарищи! — вдруг вскочил со стула Серго Имидашвили, — теперь я уже ничего не понимаю! Что, у нашего дорогого господина Перельмана журнал будет частный?

Зал грохнул от хохота.

— Так вы, Йонас, все-таки "за" или "против"? — поднялся председательствующий.

— Я ни "за" и ни "против", — ответил Изя.

— Что значит вы ни "за" и ни "против"?

— На настоящем этапе я воздерживаюсь, но повторяю, что журнал алие нужен.

— У меня вопрос к товарищу Перельману, — снова вскочил Имидашвили. — Скажи, дорогой, только честно скажи. Почему ты не хочешь, чтобы журнал был общественный?

Но председательствующий уже поставил вопрос на голосование: десять было за то, чтобы помочь журналу, десять — против. Назавтра кворум вообще не собрался, и резолюцию пустили по рукам.

Недели через три мне позвонил Йонас и сообщил, что большинством в один голос мне выделена ссуда в 20 тысяч лир и что он поздравляет меня и вообще все было бы хорошо,

осли бы я... Ах, Витя! Витя! — с чувством воскликнул Изя и положил трубку.

Я не хочу задерживать вашего внимания на этих двадцати тысячах лир, которых хватило на полтора номера. К деньгам мы еще вернемся. Не специально — мимоходом, ибо зачем же я буду специально писать о деньгах? Чтобы добиться от вас моральной поддержки? Я и так знаю, что морально вы всегда со мной. Как и дядя Сол. И даже, как Пинхас Сапир, который в конце нашей беседы даже шепнул Журини:

— Ты знаешь, мне этот аид чем-то нравится!

Итак, с вашего разрешения, я отрываюсь от презренного металла и перехожу к черемухе, то есть к неповторимо-прекрасной эпохе, когда вышел в свет первый номер журнала "Время и мы".

Я часто слышу вопрос: что наша алия дала Израилю? У немецкой алии были такие-то заслуги, у румынской — такие-то, у польской — такие-то. А что вы, евреи из СССР, дали Израилю? Я уже говорил, что мы были алией реформаторов, опреснителей морской воды и будущих членов Кнессета. И теперь считаю нужным кое-что добавить. Впрочем, вы и сами догадываетесь, кем мы были еще — если вспомните, что в то неповторимо-прекрасное время в Израиле каждый месяц открывалось по новому журналу или газете. Но кто их создавал? Кто редактировал?

Так вот, мы были алией их создателей, алией главных редакторов, и такой алии, смею утверждать, еще никогда не было.

Чем же занимались главные редакторы в эту прекрасную пору? Они завоевывали читателя и вкладывали в это благородное дело весь жар своих сердец.

Я уверен, что о благородном труде многих из них вы и по сей день не имеете представления. Ну, слышали вы там о всяких "Клубах", "Неделях", "Рассветах", "Возрождениях", "Менорах" — так о них все слышали! А что вы знаете, например, о первом в мире порнографическом ревю для новых олим из Советского Союза под редакцией Сегалова-Фрумкина? Вы улыбаетесь. Вы просто не имеете представления, какой титанический труд взвалили на свои плечи главный редактор ревю (и бывший инженер по технике безопасности завода "Электросила") Михаил Львович Сегалов-Фрумкин и его машинистка — новая оля из Харькова Сара Лазаревна.



Редакция находилась в городе Бат-Ям, в олимовской квартире у Михаила Львовича. Здесь с помощью клея и ножниц он творчески обрабатывал лучшие порнографические издания мира и, кажется, здесь же приступил к публикации широко известного литературного шедевра на эту тему: "Спи спокойно, дорогой товарищ!"

Он был подлинный энтузиаст своего дела. Чего никак нельзя было сказать о его машинистке Саре Лазаревне. Она была старой девой и просто сходила с ума от непристойностей Сегалова-Фрумкина, к которому пошла исключительно потому, что в свои шестьдесят пять лет нигде не могла устроиться. Лишь один раз главный редактор вывел Сару Лазаревну из состояния равновесия, и этот единственный раз стал для его детища роковым.

Случилось это после того, как журнал "Клуб" напечатал о Сегалове-Фрумкине фельетон, обвинив Михаила Львовича не более — не менее, как в сексуальной инфантильности. Последнего это так потрясло, что он с этим самым "Клубом" в руках влетел к себе в квартиру и, бросив его на стол машинистке, воскликнул:

— Сара Лазаревна! О нас написали фельетон!

—О нас?!

Лицо Сары Лазаревны стало белым как бумага, затем из-за неожиданного прилива — бордово-красным, и на другое утро, свалившись с приступом гипертонии, она не вышла на работу. На смену ей Сегалову-Фрумкину так и не удалось никого найти, и первое в мире порнографическое ревю для олим из СССР прекратило существование.

## "ОПЛОТ ИЗРАИЛЯ"

Я бы мог написать и о других главных редакторах и привести даже их перечень, но меня не интересует масса. Меня занимают гении, а гении в моем представлении — это не

обязательно Микеланджело и Эйнштейны. Я, например, считаю, что только случай (а именно то, что Сара Лазаревна оказалась старой девой) помешал выйти в гении главному редактору ревю Сегалову-Фрумкину.

И сколь скоро мы заговорили о свершениях нашей алии, я хочу обратиться к детищу другого гения, рядом с которым просто меркнет творение Сегалова-Фрумкина, ибо речь идет не о заштатном порнографическом листке, а о первой ежедневной сионистской газете "Оплот Израиля" (или просто "Оплот", как мы для простоты будем иногда ее называть). Это было почти то, о чем я мечтал и что морально обещал поддержать дядя Сол, но что воплотил в жизнь не я, нет, не я, дорогой читатель, а мой коллега по алие главных редакторов Наум Маркович Горфинкель, или просто Нема Горфинкель, как его звали коллеги по Вильнюсской юридической консультации, где он служил до приезда на свою историческую родину.

Позже многие из Неминых конкурентов и недругов называли его авантюристом. Но в моих глазах он был гением, ибо только гений мог вырвать у заведующего отделом профессиональной абсорбции Моше Шварцмана 17 стипендий для интеграции журналистов из СССР.

Впрочем, у него был и облик гения. В то время как из-за царящего в стране зноя даже члены Кнессета позволяли себе ходить в рубахах нараспашку, Нема нигде и никогда не появлялся без галстука и ослепительно белого воротничка — он был денди до конца ногтей. И, когда однажды он появился рядом с Шлемой Розе в Бейт-Бродецком, то все решили, что он и есть министр абсорбции, а Шлема — его шофер.

К сотрудникам министерства абсорбции у Немы был свой и исключительно оригинальный подход: когда он что-то просил, он никогда не требовал и не повышал — не дай бог — голоса. Он просто извинялся и задавал вопросы. Ну еще иногда прибегал к уменьшительно-ласкательным суффиксам.

Говорят, что именно с этого он начал беседу с Моше Шварцманом из отдела профессиональной абсорбции.

— Я очень извиняюсь, адон Шварцман, если оторву у вас минутку-другую. Но дело в том, что редколлегия газеты "Оплот Израиля" просит вас выделить семнадцать стипендий для абсорбции журналистов из СССР.



— Ну? — ответил Шварцман. — Это было его обычной реакцией на все просьбы и ходатайства, поступающие от новых олим из СССР.

— Я очень извиняюсь, но прошу учесть, что мы не какой-нибудь там "Клуб-шмуб", а "Оплот Израиля".

— Ну! — смотрел на него сонными глазами Шварцман.

— Так как насчет стипешек? — очаровательно улыбался Нема.

— Этот вопрос, — наконец выдавил из себя Шварцман, — должна решить комиссия.

— Я очень извиняюсь, адон Шварцман, но решить "да" или решить "нет"?

На что Шварцман, теряя самообладание, ответил, что "да" или "нет" — этого как раз он не знает.

— Адон Шварцман, — превратившись уже в сплошное обаяние, — сказал Нема, — но, может быть, вы подскажете человека, который — да, это знает!

Кончилось тем, что Шварцман отфутболил Горфинкеля к своему начальству Арончику Парану, к которому Нема зашел с тысячью извинений и попросил ускорить решение вопроса насчет стипендий.

Будучи человеком другого склада, Арончик сходу набросился на Горфинкеля:

— Что вы не знаете, что в стране нету денег!?

— Тысяча извинений, адон Паран, но ведь мы не какой-то там "Клуб-шмуб" — мы — "Оплот Израиля" — первая сионистская газета на русском языке.

— Но если нет денег, то что вы от мене хочете? — воскликнул Арончик на своем, прямо скажем, не первоклассном русском.

— Я? — прижал руку к груди Нема. — Абсолютно ничего! Просто, может быть, вы подскажете место, где, да, имеются денежки.

— Хорошо. Я подумаю, — выдавил наконец Арончик.

— Подумаете "да" или подумаете "нет"? —спросил Нема и поинтересовался, не будет ли адон Паран против, если завтра утром он ему выдаст звоночек.

Кончилось тем, что Шварцман сам пригласил Нему и, когда тот, благоухающий и в ослепительно-белоснежном воротничке появился, по привычке промычал:

—Ну?

— Я очень извиняюсь, но что "ну"? — очаровательно улыбнулся Горфинкель.

— Ну, сколько вы хотите, Горфинкель, стипендий? Шестнадцать?

— Я очень извиняюсь, адон Шварцман, но на одну стипешку ошиблись, не шестнадцать, а семнадцать!

Вы скажете, читатель, что я отклоняюсь от темы. Ошибаетесь. Слушайте и внемлите, какими качествами должен обладать подлинный главный редактор.

Впрочем, талант Горфинкеля проявился позже, когда он приступил к подбору кадров и выработке штатного расписания. С этого времени его уже никто не звал Немой, а исключительно — Наум Маркович. "Наум Маркович отметил" или "Наум Маркович подчеркнул" или "По меткому замечанию Наума Марковича".

И вообще с некоторых пор "Оплот Израиля" начал напоминать газету "Правда", хотя в отличие от центрального органа ЦК КПСС, занимавшего девятиэтажное здание, независимая газета "Оплот" занимала лишь две комнаты. Но разве дело в количестве комнат. Дело в духе газеты. Дело в размахе ее редактора. И именно это, а ничто другое сближало "Оплот" и "Правду".

И хотя "Оплот" выходил всего на четырех страницах в формате, лишь немногим превышавшем нашу многотиражку "За отличный рейс", здесь, как и в" "Правде" были свои спецкоры, комментаторы и обозреватели. И чему бы ни посвящался материал, как и в "Правде" он начинался со слов; "От спецкора газеты "Оплот" или "Политический комментатор "Оплота" пишет" или "Собкор "Оплота" по Хайфе сообщает". И так же, как в центральном органе КПСС, на двери у



Немы висела огромная доска: "Главный редактор газеты "Оплот Израиля" Наум Маркович Горфинкель". И далее шли дни и часы приема посетителей.

Поскольку редакция состояла всего из двух комнат — кабинета редактора и его приемной, — то спецкорам, комментаторам и обозревателям разрешалось работать дома. Однако каждое утро они собирались на планерку в кабинете у главного, где Наум Маркович призывал их к лучшему, а главное к более позитивному освещению Израиля. В этих своих призывах к коллективу Нема все реже прибегал к уменьшительно-ласкательным суффиксам и все чаще говорил с "правдистской" принципиальностью и прямотой. "Дорогие друзья, — обращался он к съезжавшимся со всех концов Тель-Авива собкорам, комментаторам и обозревателям, — я очень извиняюсь, но я хотел бы прежде всего напомнить вам название нашей газеты. "Оплот Израиля" — это вам не какой-нибудь там засранный "Клуб-шмуб", "Алия-Шмалия".

И далее, он устраивал такой разнос любимому коллективу, которому могли бы еще поучиться какой-нибудь там Сатюков или Чаковский. "Скажите, милейшая, — изысканно вежливо начинал Нема, — когда вы намерены сдать репортаж о встрече Шлемы Розе с новыми олим из Нагарии? Простите, вы что-то сказали, я не расслышал?" Но это был только разбег, после которого в лучших традициях ленинской "Правды" Нема обрушивался на тех, кому было наплевать на самое главное в нашей жизни, а именно — на вопросы сионистского воспитания.

— Я очень извиняюсь! — восклицал Нема, — но лично я таких товарищей не держу!

А однажды, когда по вине собкора "Оплота" при канцелярии главы правительства в газету вместо Ицхака Рабина проскочил Исаак Рубин, Нема позволил себе даже непечатно выразиться. То есть, как выразиться: вначале он, конечно, сказал, что он очень извиняется, но с завтрашнего дня правительственный корреспондент "Оплота" может идти к ебени-фене.

Как истинный прибалт, Нема считал, что порядок превыше всего, и потому в приемной у него сидели две секретарши —

одна молоденькая Ривка, которая числилась на должности ближневосточного комментатора, отвечала по телефону и называла себя начальником приемной, другая — старенькая Пнина, которая тянула всю работу и считалась просто секретаршей. И обе, между прочим, будут важны для нашего дальнейшего повествования. Из-за Ривки с ее женскими прелестями и непробиваемой тупостью, погорел Горфинкель, а Пнина, оставшись без места, придет работать в журнал "Время и мы".

Но вначале о Ривке, которая видела свое назначение в том, чтобы своими женскими прелестями поддерживать к себе неослабевающий интерес Немы. И, во-вторых, соединять его по телефону исключительно с теми, кто, по ее мнению, был ему полезен, а не просто крутил голову. Так вот, погорел Нема не как главный редактор "Правды" и не как гениальный вильнюсский еврей, а как самый последний шлимазл. Именно этим словом он назвал себя сам за то, что вовремя не вытурил Ривку. И мало того, что не вытурил, но и посадил на должность ближневосточного комментатора, чтобы она несла всякую чушь в приемной.

Случилось это после того, как экономическое положение "Оплота" пошатнулось, и Шварцман вдвое сократил число стипендий. Все висело на волоске, и надо же было именно в такой момент позвонить в "Оплот" — нет, не Шварцману, Шварцмана Ривка узнавала по голосу мгновенно и щебетала с ним, как ласточка. В "Оплот" позвонило начальство Шварцмана — Арончик Паран, который получил анонимку, что в газете "Оплот Израиля" устраиваются шахер-махер со стипендиями, а деньги мирового еврейства расходуются на блядей главного редактора Горфинкеля. Арончик рвался немедленно соединиться с Немой, но в ответ услышал стальной голос Ривки, не ведавшей, что творит.

— Вам Наума Марковича? Наум Маркович проводит планерку, звоните позже.

Арончик пытался что-то объяснить, но Ривка со своими соломенными мозгами повторяла как заведенная:

— Адони, редактор на планерке, и я ничем не могу вам помочь.



Так начальнику управления абсорбции Тель-Авива еще никто не отвечал, и он спросил, с кем имеет честь говорить. В ответ на это Ривка с еще большей наглостью пропела:

— С начальником приемной газеты "Оплот Израиля".

Ничего более ужасного произойти не могло. Между прочим, сам Арончик уже третий год не мог выбить себе единицу начальника приемной. Словом, он в ту же минуту понял, как в газете "Оплот Израиля" расходуются деньги мирового еврейства. Узнав о случившемся, Нема чуть не получил инфаркта. Он тут же уволил Ривку и в присутствии всего коллектива назвал себя шлимазлом.

Между тем слухи о случившемся обрастали все более фантастическими версиями. И, когда я на другой день зашел в Бейт-Соколов, Рувка Веритас тотчас подозвал меня к себе:

— Ты слышал, какой скандал произошел с этим шмоком?

— С каким шмоком?

— Ну этот, редактор "Оплота", ты думаешь, я знаю все их фамилии?

— С Немой Горфинкелем?

— Его фамилия Горфинкель? Так вот, Шлема Розе создал специальную комиссию министерства для расследования.

— А что там, Рува, расследовать? Пустил на ветер сотню-другую тысяч.

— Много ты знаешь! Этот шмок держал пять наложниц и всем платил стипендии министерства абсорбции.

И тут же мне Рувка поведал, что с одной из жертв этого Горфинкеля он сам утром беседовал. Ривка, его секретарша. Хорошая девушка. Новая оля.

— Ты знаешь, за что он ее убрал? За то, что она не хотела идти с ним в постель. Ты его видел? Хотел бы я видеть, кто с этим лысым шмоком пойдет в постель!

Я не уверен, что до Немы вообще дошли все эти сплетни — он просто был выше них. И если он и погорел, как шлимазл, то вышел из этой истории, как гений.

Другой бы на его месте, может быть, пулю себе в лоб пустил, а он позвонил главному редактору "Нашей страны". К тому времени тот уже купил "Трибуну" (так что Даниель

Амарильо не надолго пережил своего обозревателя Шатрова), и "Оплот Израиля" оставался единственным его конкурентом. По понятным причинам разговор был сугубо приватным и кончился тем, что Нема продал свое детище "Нашей стране".

Поистине, это была сделка года, ибо вместо того, чтобы оказаться в долговой яме, бывший редактор газеты "Оплот Израиля" выехал из своей бывшей редакции на улице Мазе в только что купленной новенькой "Ауди",

Слушайте и внемлите, читатель. Может быть, жизнь ваша повернется так, что и вас захватит романтика нашей профессии, как захватила она Нему Горфинкеля. Так мой вам совет, если выпадет вам такая судьба, примите ее как должное. Учитесь у моих коллег по эмиграции: не ропщите, не впадайте в панику, идет, не идет — выше голову товарищ! Как держал ее главный редактор газеты "Оплот Израиля" Нема Горфинкель. Что с того, что в тяжелый момент он продал свое детище и стал агентом туристской компании "Розентурс". Он — гений, он — главный редактор в душе. И просто неизвестно, что бы делала русская литература в изгнании, если бы не такие, как Нема Горфинкель. Покопайтесь и вы в своей душе, дорогой читатель, может быть и вы обнаружите, что вы никакой не инженер, не врач и не кто-либо другой, а прирожденный главный редактор и только не решаетесь себе в этом признаться. В таком случае — смелее! равняйтесь на "Оплот Израиля". Мы — алия главных редакторов, и мы еще скажем свое слово на этом трудном и благородном поприще!

## МЫ ЖИЛИ... МЫ ЖДАЛИ...

Ох, занесло меня, джентльмены! При чем тут алия главных редакторов? И редакция газеты "Оплот Израиля"? И погоревший Нема Горфинкель? И какая тут связь с журналом "Время и мы"? Не удивляйтесь: все было связано в те дни, ибо, где погорели "Оплот" и Нема Горфинкель? На луне? Или, может быть, в Нью-Йорке, на Пятой авеню, куда перебралась сейчас наша редакция? Да нет же, они погорели в Израиле, в городе Тель-Авиве, в министерстве абсорбции, на улице Эстер Малка, где Арончик Паран устроил по этому поводу специальное совещание. Обсуждалось то, что произошло в газете "Оплот", то есть, как получилось, что вылетело в трубу семнадцать стипендий, выданных начальником отдела профессиональной абсорбции Моше Шварцманом. Говорят, что Арончик стучал кулаком и топал ногами. Но если это и было некоторым преувеличением, все равно нетрудно представить, какие перспективы открылись перед редакцией журнала "Время и мы" в смысле получения новых стипендий от министерства абсорбции.



"Оплот" умер, но дело его жило, и пожинать плоды случившегося пришлось не Неме Горфинкелю, покинувшему редакцию в новенькой "Ауди", а мне, который, как в том еврейском анекдоте, наконец-то нашел время и место создавать толстый литературный журнал.

Но хватит о презренном металле — сколько мы его получили от Объединения олим, вы помните, сколько — от министерства абсорбции — после того, как Арончик Паран топал на Шварцмана ногами, — представляете. Так что давайте снова вернемся к черемухе, то есть на улицу Ибн-Гвироль, 46, на третий этаж, в квартиру к Женюрке и Семе Житницким, где готовился первый номер журнала "Время и мы" и где один за другим появлялись первые его сотрудники.

Да, дорогой читатель, нет у меня другого выхода, чем плести эту сложную паутину-фабулу: начинать с одного, переходить к другому, затем к третьему, затем еще бог весть к чему — все в те дни смешалось в доме Житницких.

И уж если следовать ходу событий, то все началось не с моей встречи с Пинхасом Сапиром, который шепнул про меня Журини, что ему этот еврей чем-то нравится, и даже не с заседания Объединения олим, после чего дали денег на полтора номера, — нет, как всегда в этом мире, все началось с кадровых вопросов, решение которых взял на себя Сема. Он так и сказал: "Кадры я беру на себя!" Но фактически взял на себя куда больше. Я даже затрудняюсь перечислить, чем за-

нимался Сема в те дни. Похоже, мне легче сказать, чем он не занимался.

Стоило кому-то позвонить в дверь, как Сема устремлялся открывать. Посетитель входил ко мне, и Сема следовал вслед за ним. И как только тот представлялся мне, Сема тотчас представлялся ему:

— Будем знакомы, инженер Сэм Житницкий! А вы,простите, по какому вопросу в редакцию?

Все дальнейшее зависело от оперативности Женюрки — успеет ли она вовремя поспеть и увести Сему, чтобы он не встревал в разговор. Но она не была всесильной. Когда в редакции впервые появился мой зам Боря Орлов, Сема решил, что вся наша беседа должна идти в его присутствии. И очень скоро сам превратился в ее главного участника.

Мы обсуждали будущую статью Орлова "Миф о Фанни Каплан", в которой тот выдвигал гипотезу, что на самом деле стреляла в Ленина не Фанни Каплан (она же Ройд), а эсерка Лидия Коноплева. Услышав это, Сема даже вскочил со стула:

— Это почему же Коноплева, когда всему миру известно, что эсерка Каплан?

— Почему? — улыбнулся Орлов, — почитайте статью, там все сказано.

— А мне и читать нечего! Историю как-нибудь изучали. Евгения! — вдруг крикнул Сема на всю квартиру, — а ну мигом к нам. Женюрка, ну что ты там возишься!

Вошла Женюрка в домашнем халате и тотчас набросилась на мужа:

— Сема, прошу тебя, дай людям работать, займись чем-нибудь...

— Я-то займусь, но раньше ты ответь нам на один вопрос. Скажи этому господину, кто стрелял в Ленина?

— Ах, Сема, что ты мне морочишь голову, ты хочешь, чтобы у меня мясо сгорело?!

— Мясо — мясом, но кто стрелял в Ленина? Я утверждаю, что эсерка Каплан!

— Ну, хорошо, Каплан, если тебе так хочется, пусть Каплан.



Женюрка ушла, но Сема все равно не мог успокоиться:

— Вы кто по образованию, господин Орлов? Историк? Интересно, чему вас там учат в университете?!

Следующая, за кого взялся Сема, была уже упомянутая мной Пнина, бывшая секретарша Горфинкеля, милая интеллигентная старушка, которая начала вести делопроизводство журнала. Дела она вела на иврите, и я уж не знаю, что послужило поводом, чтобы завести с ней спор, какой язык богаче: русский или иврит, Пнина, будучи человеком интеллигентным и покладистым, сказала, что по-своему каждый язык хорош, на что Сема ответил:

— Знаете, Пнина, все это демагогия. Какой у нас язык самый великий, самый прекрасный, самый могучий, какой, скажите?

— Я не отрицаю достоинства русского языка, — отвечала Пнина.

— Если бы вы отрицали их, это надо быть просто не в себе!

— Сема! Что ты там хочешь от Пнины?! — кричит с кухни Женюрка.

— Я от нее хочу?! — начинает вдруг весело смеяться Сема. — Пнина, как вам нравится моя жена? Женюрка, ты что, ревнуешь меня к Пнине?

— Ну ладно, пойдем обедать, — умиротворяет Сему жена.

— Пойдем обедать, — соглашается Сема и, уже выходя из комнаты, бросает Пнине: — Советую вам, Пнина, больше читать русской классики. Пушкина! Пушкина! И еще Лермонтова!

Надо сказать, что Сема считал себя большим знатоком людей, поэтому и взялся за подбор кадров журнала. Но подбирать ему больше некого было — единственно, кого мы искали — корректора. Но именно здесь "кадровик" дал промашку. Собственно, что значит — промашку? Она была одна из самых добросовестных сотрудниц журнала. О, если бы Сема, приведя ее в редакцию, напирал именно на это ее качество! Но было как раз наоборот. Когда она, потупив взор, полненькая в очках брюнетка вошла в редакцию, он тотчас припал к моему уху и воскликнул:

— Скромняга! Как раз то, что нам нужно!

А она, даже не взглянув в его сторону, низким грудным голосом сообщила, что зовут ее Виолетта, фамилия Сиголовская.

— А стаж? Стаж? — рвался в бой Сема.

— Стаж семь лет в Гослитиздате! — выразительно сверкнула она из-под очков большими глазами.

— Так что корову через "ять" не напишете? — сострил Сема. — В общем так. По предварительным данным вы нам подходите, но мы с редактором должны, конечно, подумать.

Когда она ушла, он еще раз воскликнул: "Ах какая скромняга! Да таких в эмиграции днем с огнем не найдешь!" Позже он утверждал, что ничего подобного не говорил.

Молодожены так влюбились в корректоршу, что тотчас предложили ей переезжать в редакцию.

— Мадам! — сказал Сема, когда она появилась в квартире, — разрешите вас звать по простому — Витой. Вита, Вита, Виолетта, я люблю тебя за это. И за это и за то, ну, а в общем ни за что!

— Сема! Да ты, оказывается, и стихи пишешь!? — воскликнула Женюрка и потрепала его по коротко остриженному затылку.

— И не хуже некоторых поэтов из журнала "Время и мы", — ответил Сема.

— Как вам нравится мой красавец! — продолжала она его гладить по седому бобрику на затылке.

— Красавец, не красавец, а на отсутствие баб не жаловался.

— Фи, Сема! Фи!

— Ах, простите, если я смутил ваш интеллигентный вкус. Мы с Виолеттой проживем и без вас — Виа, Виа, Виолетта, я люблю тебя за это, — обнял он за полные плечи корректоршу, и она выразительно сверкнула из-под очков глазами в мою сторону.

На другой день она приступила к вычитке романа Кестлера. Работала с утра до позднего вечера. Казалось, что с корректоршей Виолеттой нам и в самом деле повезло, и я просто не придал значения эпизоду, происшедшему в один из



обеденных перерывов, когда я встретил ее у входа в наш подъезд с дымящейся сигаретой.

Впрочем, сигарету она старательно прятала в рукав. И когда я спросил, в чем дело, она, скромно потупив глаза, шепнула: "Виктор! Умоляю, спасите, там стоит мой папа. Он не знает, что я курю, у него будет инфаркт!"

С этого и началось в моих глазах разрушение образа нашей скромняги Виолетты.

Дня через два-три Сема позвал меня в столовую для серьезного разговора о поведении корректорши.

— Ну, как тебе нравится эта мадам? Эта твоя Виолетта? Мы не спали с Женюркой до трех ночи!

Я давно уже не видел Сему в состоянии такой озабоченности. Оказывается, накануне вечером они встретили корректоршу в супермаркете, и "Что она делала! Что она делала!" — не переставал повторять Сема. "Мы с Евгенией не верили глазам! В открытую, перед всем честным людом прятала в сумку бутылку портвейна!"

— Виолетта! Виолетта! Я люблю тебя за это! — не выдержал я.

— Ну, знаешь, редактор, тут не до шуток! Твоя сотрудница — ты и решай! Женя сказала, что нам с ней на старости лет таких артисток не нужно!

Бедный наивный Сема! Шокированный какой-то бутылкой портвейна! Ни ему, ни его наивной Женюрке даже в голову не могло прийти, какие демонические страсти разыгрывались в душе корректора журнала "Время и мы" Виолетты Сиголовской.

"Ах, Виолетта! Виолетта! Я люблю тебя за это!" — тоже одна из причуд моей памяти. Все забыл — как она появлялась каждое утро в редакции, как просиживала над рукописями и даже, как выглядела — всегда ли носила очки, или только, когда читала — а вот эту Семину песенку ничем не выжечь. "Ах, Виолетта! Виолетта!" А, может, врезались редакционные вечеринки, на которых никто не мог ее превзойти, нашу сжигаемую страстями Виолетту — в очках и туфлях на широких каблуках. О, тогда она становилась неистовой! Неистовой

в поисках своего Ромео. Она пыталась его найти в каждом, но то были не Ромео, а сплошные шлимазлы и рыбы, не способные ни оценить ее, ни понять.

Я представляю вам пару милых картинок — только не спрашивайте меня, что в них серьезно, а что от лукавого — я и сам этого не знаю. Чужая душа — всегда потемки, и никому не понять ее выкрутас.

Итак, наша прекрасная Виолетта была способна доводить мужчин до исступления, особенно когда с горящими от страсти глазами начинала падать перед каждым на колени и требовать к себе любви — серьезно или нет, не знаю. Внешне это было похоже на приступ страсти мадам Грицацуевой к Остапу Бендеру. Но если Остап сохранял олимпийское спокойствие, то я тотчас ловил на себе полный замешательства взгляд избранника Виолетты. И стоило ему окликнуть меня, как она тигрицей бросалась в его сторону: "Ах, не уходите от меня! Неужели я вам совсем не нравлюсь!" Он отвечал, что готов уйти с ней на край света. Но лучше это сделать втроем: она, он и главный редактор Виктор Перельман. Это был запрещенный прием. Я понимал, что за этим последует, но готов был принять удар на себя и не пытался сопротивляться.

— Ах, Перельман! — шла она теперь на меня с раскрытыми объятиями и сверкая прекрасными семитскими глазами. — Если бы вы знали, как я вас люблю! А у вас есть ко мне хоть какое-то чувство? Давайте выпьем за нашу любовь! — Она наливала себе и мне водки и вдруг резко оборачивалась. — Постойте! Постойте! А где тот, кто хотел уйти со мной на край света?! Ах, кажется, он ушел без меня!

Когда кончался вечер, ее среди нас уже не было. Да и выпало у меня из памяти, как кончались эти вечера... Тем более, все это происходило позже, когда мы уже переехали на улицу Нахмани, а она, наша любвеобильная Виолетта, получила однокомнатную квартирку для холостяков в Хулоне. Ах, какие заводила она там хороводы, наша королева Виолетта, которая в день своего появления заставила заговорить стихами даже меланхолика Сему. Впрочем, королевой она станет



позже, когда появится в редакции прекрасный седовласый король. Но об этой любви, как и о самом короле — опять же позже, а пока назад, к октябрю 1975 года.

До сдачи первого номера в типографию оставались считанные недели. Как написал бы всякий серьезный и уважающий себя мемуарист, редакция переживала напряженные и какие-нибудь там еще незабываемые дни. Мы ждали... Мы волновались... В предчувствии чего-то очень важного. Ах боже, отчего у меня нет этих слов! Впрочем, кто знает, может быть, все это и было, но в какой-то момент просто утратило поэтический настрой.

Итак, джентльмены, занавес. Тель-Авив. Октябрь 1975 года. Каждое утро, где-то в районе девяти утра я подъезжаю к дому 46 на улице Ибн-Гвироль. Ставлю свой "Форд-Таунус" на стоянку во дворе Дома журналиста и поднимаюсь на третий этаж, в квартиру 8, где на двери висит медная дощечка: "Инженер Сэм Житницкий". У меня от двери собственный ключ и, входя в редакцию, я не бужу хозяев.

Я открываю дверь, и в нос ударяет запах того, что Сема называет "биологическими отходами" и из чего он с такой неутомимой энергией пытается получить дешевые сорта бензина. Никаких иных терминов, кроме как "биологические отходы", нам вслух не разрешается произносить. И этот запрет распространяется на всех. Когда однажды Сема притащил с заднего двора ведро "биологических отходов", Женюрка, надраившая перед тем квартиру, не выдержала:

— Сема! Опять ты свой мусор тащишь?!

Надо было видеть побледневшее в гневе Семино лицо.

— Это мусор? Повтори! Повтори, что ты сказала! Из-за этого мусора, Евгения, арабы весь мир на крючке держат!..

Женюрка почувствовала, что наступила на больную мозоль мужа и тут же дала отходную.

— Да нет, Семочка, ты меня не так понял. Что я сама не знаю, что это золото? Просто оно немножко пахнет мусором. Ну, так попахнет и перестанет!

— Нет, Евгения, ты просто повторяешь чушь всяких идиотов из министерства абсорбции, а я не хочу этого! Не хочу и все! — снова стал воспламеняться Сема.

В ответ на это Женюрка стала нежно поглаживать его по затылку:

— Ты мой кхасавчик, ты — мой изобретатель!

И он мало-помалу успокоился. Но чтобы не усложнять жизни, слово "мусор" никто и никогда в этом доме не решался произнести вслух.

...Однако пахнет, не пахнет, а журнал надо выпускать, и, войдя в редакцию, я усаживаюсь за свой рабочий стол. По правую руку от меня в самом углу пенала приткнулась Пнина — она ведет учет подписчиков, число которых в эти судьбоносные дни достигло тридцати девяти. По левую руку — на балкончике, впритык к Семиной лаборатории — стол корректорши Виолетты. По ее прекрасным семитским глазам я всегда догадываюсь, как прошла предыдущая ночь.

Сама ночь меня интересует меньше всего. Меня интересуют последствия и их влияние на возможные ошибки в первом номере. Впрочем, для размышлений у меня не остается времени, потому что вслед за мной в редакцию входит Сема — обычно он в майке и тренировках, и приветствует он меня одними и теми же словами:

— Здорово, редактор! Как журнал?

Он не спеша приближается к моему столу и так же не спеша обводит взглядом все лежащее на нем.

— Есть, редактор, что-нибудь новенькое или все старье?

Я знаю, что вопрос относится к первому номеру, которым Сема явно недоволен. Что бы я ни ответил, его не удовлетворит. И потому я мечтаю скорее свернуть эту беседу. Но у Семы, похоже, цель совершенно противоположная, и он одну за другой медленно перебирает рукописи.

Сема считает себя сионистом, патриотом и атеистом, и его прежде всего интересуют еврейские темы — в том смысле, что он уверен, что мы эти темы недооцениваем, и статьи на религиозные темы — в том смысле, что он против них всегда восстает.

Свой утренний комментарий Сема начинает одними и теми же словами:

— Что-то, братцы, у вас с еврейской тематикой слабовато!



— Он переводит взгляд с моего стола на стол Виолетты. — А как наш корректор считает?

И я и она молчим.

— Так, так. Молчание — знак согласия.

Я чувствую, что главное впереди. Вот, кстати, оно и наступает:

— А это, шо це таке? — спрашивает Сема, увидев фото главного своего врага, раввина Штейнзальца, облаченного в кипу, и приколотое к статье.

Я молчу.

— Кто такой? — спрашивает Сема в который уж раз.

— Раввин Штейнзальц! — отвечаю я.

— Про кого пишет? — спрашивает Сема (опять же, в который уж раз!).

— Про евреев! — отвечаю я.

— Понятно! —усмехается Сема.

— Статья-то, как называется?

Я подаю ему статью в предчувствии разговора, после которого я каждый раз жалею, что не арендовал редакцию в другом месте.

Заголовок статьи Сема читает вслух:

— "Кто мы, трагические актеры или самобытная нация?" Шо це такое? — снова следует вопрос.

— Статья! — снова отвечаю я.

— А кто такие трагические актеры? — спрашивает Сема.

— Евреи! — отвечаю я и чувствую, как тает надежда закруглить беседу. А у Семы возникают сразу два вопроса: во-первых, почему актеры, а во-вторых, почему трагические? Нет, еще третий: почему о евреях должен писать какой-то раввин, а не я сам как главный редактор. Сема рассуждает, а я насвистываю "Марш веселых ребят" — последнее средство, чтобы себя сдержать. И тут он добивает меня:

— Ты дай мне, я тебе лучше всякого раввина напишу!

— А ты знаешь, кто такой раввин Штейнзальц?! — не в силах сдержать я раздражение.

— А для меня все раввины на одно лицо, — отвечает Сема.

И в этот момент за дверью раздаются спасительные шаги.

— Сема! Завтракать! — И в комнату входит распаренная после душа Женюрка. — Сема! В каком ты виде!

— Ах, извините, княгиня, что мы без брюк!

— Без брюк бы это ничего, но в каких ты трусах! К тому же ты мешаешь Виктору работать!

— Знаешь что, Евгения, — уже всерьез раздражается Сема, — прошу тебя в редакционные дела не вмешиваться. Ты слышала, что они в первом номере собираются одних раввинов давать!

— Каких раввинов, Сема?

— Очень простых, израильских! — отвечает Сема и нехотя выходит из редакции. — Ну, ладно, редактор, мы еще на эту тему с тобой поговорим.

Он уходит, явно недовольный, что жена не дала ему выяснить до конца вопроса с раввинами. Я погружаюсь в рукописи, но ненадолго — снова в дверь стук. На этот раз Женюрка.

— Виктох! Для вас чашечка компота с пирогом! — Она ставит пирог на стол и в открытую дверь вновь входит Сема.— Сема, не мешай людям работать! — пытается увести его Женюрка.

Но он требует, чтобы я вышел с ним для серьезного разговора в столовую.

— Садись, — говорит он. — Насчет раввинов — это ты как хочешь. Напорешь, тебе голову снимать будут, а не мне. Но тут другой вопрос: насчет Виолетты. Жить пускай живет, но насчет удобств, извини, помилуй, пускай в море ходит.

— Да, Виктох, уж, пожалуйста, — откуда ни возьмись появляется Женюрка, — насчет удобств мы вас очень просим. Каждая уборка двадцать лир.

— Так куда ж ей ходить?

— Да я ж сказал, в море, пускай в море ходит...

На сегодня, кажется, все вопросы утрясены, и я наконец углубляюсь в рукописи. Из коридора доносится негромкий бой часов, а из спальни тихий храп молодоженов.

Первым после дневного сна поднимается Сема. Я слышу, как он отпирает дверь в лабораторию и приступает к очередным опытам. Я знаю, что эти опыты нам ничего хорошего не



предвещают. Сема что-то перемешивает, сливает какие-то сосуды, что-то зажигает, и вдруг страшный взрыв сотрясает квартиру. В нос ударяет запах гари, и наша комната в миг обволакивается дымом.

— Сема! — кричит из спальни Женюрка. — Что произошло?

— Ничего особенного! Взорвалось немного сероводорода, — отвечает Сема и черный, как трубочист, появляется в нашей комнате. — Все живы-здоровы? Редактор, жив?

— Сема, но так же можно поджечь квартиру! — не может она успокоиться.

— Ах, ах! — поджечь квартиру, ничего твоей квартире не сделается, — говорит Сема и отправляется после тяжелых экспериментов отдыхать.

Вечереет... Мне пора домой.

— Шолом, редактор! — кричит мне вслед Сема. — А насчет раввинов советую подумать...

Я выхожу из подъезда. После Семиных опытов раскалывается голова. Боже, как давно я не бродил по улицам Тель-Авива. Еще рано, нет и шести, и ноги сами несут в Бейт-Соколов. Знакомых никого — единственно, кто на месте, — на вечном своем посту — Рувка Веритас.

— А, Виктор, машет он мне рукой, чего это тебя не видно. Менаше, дай нам по содовой и рыбе фиш! Да, где ты пропадаешь?

Я рассказываю Руве, что начинаю издавать журнал.

— Какой журнал? — спрашивает он.

Я чувствую, что он что-то не договаривает и что-то подозревает, но не решается спросить.

— Нет, нет, Рува, беспартийный, общественно-литературный журнал.

— Беспартийный? — все еще не может он поверить. — А кто же дает деньги? Хочешь я поговорю со Шлемой Розе. Шлема — человек ответственный и, по-моему, он захочет тебе помочь.

Нет, я не хочу, чтобы он говорил со Шлемой.

— Ни с кем, Рува, не надо говорить. Тем более, у меня есть деньги, — сказал я и хотел добавить... на полтора номера!

— А где твоя редакция?

— На улице Ибн-Гвироль, в квартире одного нового оле, инженера Житницкого, изобретатель, может быть, слышал?

— Житницкий? — морщит лоб Рува. — Постой, постой, это не тот ли шмок, который говорит: "Дайте мне тонну говна, и я залью весь Израиль бензином"?

— Да нет, Рува, он перерабатывает биологические отходы.

— Ну, конечно, много ты знаешь! Он же просто завалил Шлему Розе письмами со своим проектом — превратить в бензин все тель-авивские помойки. Шмок! Так ты у него имеешь редакцию? Ты не мог позвонить Шлеме, чтобы тебе помогли с помещением?

Мы прощаемся. Я встаю из-за стола и пытаюсь расплатиться с Менаше, но Рува не дает мне.

— А что, Барский еще здесь? — спрашивает он вдруг меня. — А Красный?

— Здесь, Рува, оба здесь!

— Еще не все уехали! Передай привет этому Житницкому и скажи, пусть займется делом, шмок!

Ну а как все же выглядели те судьбоносные дни перед выходом журнала? Ведь наступил же час, когда все было готово: весь номер был набран, смонтирован, разверстан по страницам. Готова двухцветная обложка. Подобраны портреты авторов. И вот тут-то мне и пришла идея, которая сегодня, может, и потешит моих коллег — главных редакторов. Мне запала мысль выпустить журнал без единой ошибки и даже без единой неправильной запятой. Вот какая задача была поставлена перед нашей первой корректоршей Виолеттой. В редакции было объявлено осадное положение — все были брошены на поиски ошибок и описок. На помощь Виолетте была вызвана еще одна корректорша, по имени Алла. Все это поставлено на поток: вначале читала Виолетта. Я еще никогда не видел такими вдумчиво-сосредоточенными ее прекрасные томные глаза, затем подключалась Алла, затем снова Виолетта, затем зам.главного Боря Орлов, а затем уже я как редактор.

И, наконец, в качестве последней инстанции у нас появился доброволец — инженер Житницкий.



Не успев приступить к чтению, он тотчас же заявил, что обе корректорши не знают правил постановки запятых. Возможно, если бы не он — не случилось бы того, что произошло Столько было прекрасных саперов — просто не могли бы пропустить этой мины, если бы им не мешали.

Впрочем, Сема и не мешал, он просто затевал изнуряющие грамматические бои. И больше всего ему не давали покоя запятые. Как все начиналось? А вот как.

— Послушай, корректор! На спор, что здесь нужна запятая! — шел он решительно к Виолетте.

— Нет, Сема, — с олимпийским спокойствием отвечала та — здесь "как" в смысле в качестве, и запятая не нужна.

— В качестве, не в качестве, а перед "как" нужна запятая да вот хоть Евгению спросим.

— Женюрка! Правда, ведь ты Рижскую гимназию кончила, — кричит Сема жене на кухню. — А ну, мигом к нам...

— Сема, ты же не корректор, и я не корректор! — входит в комнату Женя. — Как ты можешь спорить...

— Да, я лучше их всех корректор! Спорим, Вита, нужна запятая. Да ты знаешь, Женечка, они хотят весь журнал без запятых напечатать.

Женя уводит мужа.

— Сема, пора обедать, — говорит она. — Я такой борщ приготовила! Такой борщец!

Но ему уходить явно не хочется. Он окидывает редакцию взглядом, и в этот момент раздается в дверях звонок. Это мой зам Боря Орлов с длинным перечнем описок, который он передает корректору.

— Ого! — восклицает Сема. — Грамотеи! Товарищ Орлов, вы заметили, что они не ставят запятую перед "как"?

— Да нет же, — возражает Виолетта. — Это, если "как" в значении "в качестве".

— Качество, какчество. Этого я не знаю — перед "как" нужна запятая! Вот, товарищ Орлов, что ты скажешь? Нужна или не нужна? — переходит Сема на ты с моим замом.

— А вам, как лучше, господин Житницкий — чтоб нужна или не нужна?

— Ничего смешного не вижу! — отрезает Сема. — Кстати, как там у вас с эсеркой Каплан? — снова переходит на "вы" Сема. — Неужели вы еще утверждаете, что не она стреляла в Ленина.

— Я утверждаю! У меня же доказательства, — говорит Орлов. — Фанни Каплан вообще не была на месте покушения...

— Ну, что еще скажете? — саркастически улыбается Сема. — Может, и эсерки Каплан не существовало? Очень интересно! Ну, мне-то что. Есть главный редактор... А мы с женой здесь кто? Никто!

Он переминается с ноги на ногу, поглядывает искоса на меня. Я молчу. И в этот момент спасительный оклик из кухни.

— Сема! Сколько можно морочить людям голову?

— А кто морочит? — не спеша покидает наш пенал Сема. Никто и не морочит! Просто неприятно, когда хотят повернуть вспять историю.

Сема исчезает. Виолетта принимается за исправление ошибок. Присутствие Орлова, в чью сторону она то и дело устремляет взгляд, ее явно отвлекает.

— Сколько человек прочитали? — улыбается Орлов. — Восемь? Девять?

— Всего пять, — отвечаю я.

— Не считая историка Житницкого? — спрашивает Орлов. — Или вместе с историком?

Звонит телефон. Трубку в своей комнате берет Сема. Одновременно поднимаю трубку и я — в редакции отводной аппарат?

— Инженер Житницкий слушает!

На том конце провода просят редактора.

— Кто спрашивает главного редактора? — интересуется Сема.

На другом конце провода — слегка раздраженный голос Бени.

— Адони, я могу говорить с редактором журнала "Время и мы"? Это из типографии. По срочному вопросу.

— Из типографии? — радостно восклицает Сема. — Вот вы-



то мне и нужны. Скажите, за сколько времени вы собираетесь напечатать журнал?

— Кто это? — теряет самообладание Беня.

— Инженер Житницкий! Я же вам сказал!

— Какой еще инженер Житницкий! Мне редактора нужно, Перельмана!

Я чувствую: вот-вот разразится буря и беру трубку.

— Да, Беня, это я.

— А что это за поц? — не может успокоиться Беня.

— Что он сказал? — врывается в редакцию Сема. — Пусть повторит, что он сказал.

— Сема, ты же не доел борщ! — влетает вслед за ним жена. — Пойди доешь борщ, потом выяснишь, кто что сказал.

Но Сема требует, чтобы я немедленно передал ему трубку для выяснения отношений.

— Кто это, интересно, поц? — пытается он крикнуть в трубку. — Сами вы, молодой человек, поц!

— Сема! От тебя же можно тронуться! — восклицает Женюрка.

— Да, от меня можно тронуться, — соглашается Сема и уходит доедать борщ.

Вскоре из спальни молодых доносится тихое посапывание.

В редакции наступает тишина. Еще час, и читка номера заканчивается. До нас доносится скрип двери — это Сема входит в лабораторию, что-то смешивает, еще минута, и квартиру Житницких сотрясает страшный взрыв. Редакцию заволакивает дымом.

— Сема! Ты жив? — кричит Женюрка. — Сема! Где ты? Что там взорвалось, что?

— Ничего не взорвалось, — спокойно выходит Сема из своей лаборатории, — слишком много скопилось газов...

Подготовка номера закончена. Да, дорогой читатель, мы ждали, мы волновались в предчувствии чего-то важного. Но иногда наши ожидания прерывались будничными событиями, настолько незначительными, что, может, они и не стоили вашего внимания. Но я все-таки их коснулся, чтобы не отступать от правды жизни.

## СУДЬБОНОСНЫЙ ДЕНЬ

В этом месте я прерываю повествование, чтобы сравнить два судьбоносных дня своей жизни. Только не ломайте голову, с какой целью я пускаюсь в экскурс и почему взяты именно эти дни — уверяю, зря потратите мозговую энергию, так ничего и не извлекши из моей тайнописи.

Неужели вы так и не научились терпению? И разве в случаях, когда вы его проявляли, вы не были вознаграждены? Разве скрыл я от вас, что крошка Сюзи оказалась чистейшим существом из клуба нью-йоркских феминисток, а бравый борец Арриго — честным и добропорядочным владельцем одного из римских борделей? Разве тайное, заставляющее вас сгорать от любопытства, не становилось, в конце-концов, явным, и вы, словно бойкая, необгонимая тройка, не мчались дальше по ровной, как асфальт, канве моего сюжета?

Так вот, об одном из судьбоносных дней (сравнив его даже с залпом "Авроры"), я уже начал говорить. Но, чтобы понять, откуда это все пошло, я приглашаю вас в ту, прежнюю эпоху, где все было не так, и только память обладала все тем же странным свойством — выхватывать из любого торжества самое смешное и нелепое. Так вот, это было 27 мая 1956 года, когда утром в газете "Труд" появился первый в моей жизни фельетон "Дело Тихомировых", а вечером того же дня мы с моим соавтором Безугловым оказались каким-то образом в малознакомой компании на Зацепе.

Единственно, что сохранила память,— это голос Безуглова.

— Дорогу, товарищи! Дорогу! Идут авторы "Дела Тихомировых". Не читали? Прочтите обязательно! Вот, Виктор Борисович может дать вам интервью по этому поводу.

Итак, в это воскресное утро, обнаружив фельетон на газетном стенде у Петровских ворот, я помчался к ближайшему киоску "Союзпечати" и скупил все двадцать оставшихся экземпляров "Труда". Когда киоскер отсчитывал газеты, я так и жаждал услышать:

— Зачем же так много, молодой человек?

Но вопроса не последовало и, не выдержав, я спросил сам:



— Вы не читали сегодняшнего "Труда", в нем потрясающий материал! Свекровь убила бесприданницу-невестку.

Я не пропускал ни одного стенда и жадно вглядывался в лицо каждого, кто читал статью. Если собиралось несколько человек, то я испытывал подлинное наслаждение. Мне хотелось крикнуть, что это моя статья. Но я понимал, что это невозможно, и пытался тут же, у стенда, завести о ней разговор, чтобы как-нибудь, вскользь, ошарашить этих людей своим присутствием.

Потом вместе с Безугловым мы поехали в Парк культуры, зашли в "поплавок". Познакомились с какими-то молоденькими студентками и, усадив их на лавочку, тут же всучили им газету с "Делом Тихомировых".

— Ну а теперь, девушки, — торжественно объявил Безуглов, — я представлю вам автора этого сенсационного материала, молодого, но уже достаточно маститого писателя Виктора Борисовича Перельмана.

Повторяю, что я не помню, как мы очутились на Зацепе, но помню, что в этой квартире собрались очаровательные девочки, которые весь вечер подсаживались ко мне и спрашивали: неужели все это правда?

— Разумеется! — отвечал я с полным безразличием и ловя на себе их восхищенные взгляды.

— А как вы все это писали?

— Как? Очень просто, авторучкой! — снисходительно улыбался я, чувствуя себя наверху блаженства.

Засыпая, я чувствовал себя самым счастливым человеком на свете — мне было 27 лет, и я, разумеется, мечтал о будущем.

Но даже в самых дерзких своих мечтах я не мог представить, что стану тем, кем я стал в октябрьское утро 1975 года, когда в квартиру Житницких, на улицу Ибн-Гвироль прибыл первый номер журнала.

Если помните, читатель, именно в этом месте я прервал сюжет, и теперь обязан его продолжить. Но что-то держит меня — и даже остановился табулятор. Что-то надо сказать, но я не знаю что. Как передать очарование момента, который нет у

меня красок описать. Я так долго к нему шел, и вот он наконец настал. Я сижу среди сложенных штабелями пачек журнала, которыми был заставлен не только наш пенал, но и все коридоры в квартире Житницких и частично даже Семина лаборатория. Да, начиналась новая жизнь — и то, что эта жизнь будет захватывающе прекрасной, у меня нет сомнений. Но как только я пытаюсь ее обрисовать в реальных рамках, все в моей голове рушится. Впрочем, какие-то обрывки в голове мелькают: "Современник", "Новый мир", Твардовский, мелькают без всякой связи с реальностью — с моими хозяевами Семой и Женюркой, с социалистической газетой "Аль Гамишмар", в которой я еще продолжал работать, с Хадар-Йосефом, в котором я еще продолжал жить... Тексты укладываются в реальную жизнь. Впрочем, текстами я это называю сейчас, а тогда — это были мечты. Мечты, до которых, начиная с этого дня, мне было подать рукой и будничным вещам вообще не осталось места. Какие еще будни, какой там Хадар-Йосеф, когда на Святой земле, в каких-то семидесяти милях от Стены плача родился журнал, продолжающий традиции "Современника" и "Нового мира". Да, это выглядело, как чудо, и создателем этого чуда был я.

Я не уверен, что именно из этих фраз состояли мои тогдашние мысли. Я помню мысли и ощущения и теперь, много лет спустя, пытаюсь их расщепить на фразы. Фразы, может быть, были другими — но сегодня для меня это не так уж важно. Я задаю вопрос: "стал ли я иным в тот день, когда на земле Израиля родился журнал "Время и мы". И с грустью отвечаю: "Я остался тем же, кем был", ибо какие бы мечтания ни вспыхивали в моей голове — все это были старые и давно знакомые тексты, все та же единственная в мире сионистская газета, тот же фантастический Арриго, та же радиостанция "Свободный мир", и вот теперь единственный в мире русский литературный ежемесячник на Святой земле...

Я сижу в своем кабинете в Леонии и пишу эту книгу-комедию о своей жизни. Я — главный герой этой книги и ее главный персонаж. Это не очень приятно быть героем комедии, но что поделаешь — приходится им быть.



Одно из двух: или театр абсурда с затерявшимся в чреве Нью-Йорка журналом "Время и мы", на который без применения оружия все труднее подписать нормального человека. (Впрочем, при чем тут журнал! Будто без него вы не знаете, что это за театр, в котором все происходит!) Так вот, или он, этот театр, или... или вы хотите, чтобы я снова закрутил шарманку про то, как много вы обрели в мире высшей цивилизации и что за счастье видеть по вечерам разверзнутые в хлебной пасти гамбургеры и старичка-актера, что строит вам глазки.

Нет, вы не хотите шарманку, и потому я приглашаю вас в зрительный зал, в квартиру Семы и Женюрки Житницких, куда привезли первый номер журнала "Время и мы". И я вновь испеченный главный редактор, — не сегодняшний, тогдашний — и потому распираемый от гордости и счастья, тискаю свое детище, не веря своим глазам. Я был творцом чуда, в которое еще должен был поверить, и не знал, какой с этой минуты станет моя жизнь. Но я не сомневался, что и она отныне пойдет под знаком чуда — под иным знаком она просто не могла пойти. Ах какая это была чушь с "Делом Тихомировых". "Дорогу авторам "Дела Тихомировых"!" Тоже мне, судьбоносный день. В сущности — то была вовсе и не жизнь, а жалкая прелюдия! Жизнь начиналась сегодня, в это утро, когда раздался-таки залп "Авроры" и когда, сойдя от счастья с ума, я сижу среди первых трех тысяч журналов.

Читать не хватало терпения. Поэтому я наугад открывал страницы и читал, что попадется, пытаясь поставить себя на место читателя.

Мне определенно нравился этот номер, к которому я испытывал настолько сильную тягу, что не мог оторваться. Я вертел его, вглядывался в строчки и заголовки, некоторые были чуть скошены, и меня охватывала бешеная злоба против монтажницы, я изучал печать и видел, что на каких-то страницах она была слабее. С Бениной стороны это было просто непорядочно — неужели не мог наладить пресс.

Я крутил журнал во все стороны и жаждал ощутить торжественность момента.

В редакции никого не было. Это была пятница: Пнина в этот день не работала, Сиголовскую я отпустил к родителям в Беер-Шеву. Я с надеждой смотрел на телефон: может быть, кто-то позвонит, но телефон молчал. И тогда я вдруг понял, что ведь никто на свете, кроме меня и Житницких, не знал о дне выхода журнала "Время и мы".

И тогда я сам стал звонить, всем по очереди, прежде всего жене, в поликлинику. Потом товарищу. Везде было без конца занято, и я понял, что в этот час вообще никому не дозвонюсь. Даже Житницких, как назло, не было дома.

Я снова стал листать. Некое шестое чувство мне подсказывало: что-то внутри подложено, но что и на какой странице, и действительно ли подложено — или это только мнительность — понять было невозможно. И, успокоив себя, что это только мнительность, я решил ехать домой.

Включил мотор и, положив перед собой журнал, медленно сквозь послеобеденный трафик продирался по улице Ибн-Гвироль на север. В какой-то момент я так засмотрелся на обложку, что чуть не врезался в бампер впереди идущего "Форда". Водитель-марокканец отворил дверь и, бросив мне в физиономию, что я "бен зона" (что в точном переводе с иврита означает "сын проститутки"), нажал на газ. Из спортивного интереса, я нагнал его и, когда машины сравнялись, я показал ему журнал. Увидев его, он покрутил у виска пальцем: похоже, ему было все ясно.

Дома никого не было — жена еще не пришла с работы, дочь была в школе, и лишь наш домашний пес Чарлик с радостным визгом бросился мне навстречу. Я вскинул его вверх и затем, медленно опуская, стал листать перед его вертящейся мордой страницы журнала: кто-то же должен был разделить со мной праздник!

В дверь позвонили, я открыл ее, на пороге стояла Сара.

— А что, мама дома? — спросила она.

Я ответил, что нет, мамы нету. Она хотела было уходить, но я ее задержал .

— Сара, вы знаете, у меня вышел первый номер журнала. Вот он…



Она присела на стул и, поправив очки, стала его рассматривать, но в темноте ничего не разглядев, положила обратно на стол.

— Сара! Это мой журнал "Время и мы"!

— Журнал? Переспросила она, — какой журнал?

Я вспомнил, что никогда Саре не рассказывал, что собираюсь выпускать журнал и что она просто не понимает, о чем я говорю.

— Понимаете, Сара, я решил выпускать литературный журнал, название — "Время и мы".

— Ах, журнал! — вдруг оживилось ее лицо. — А я-то думаю, чего это Витя мне сует. Глаза-то не видят. Раньше бывало все видели. Залман принесет газету — а он, сами знаете, какой чтец, — так я возьму эту газету и читаю весь вечер. Пока не прочту от корки до корки, так не встану, хоть гори все вокруг. А вы, значит, Витя, журнал выпускаете?

— Да, Сара, да! И вот первый номер!

— Ну и что там есть в этом журнале, что-нибудь интересное?

— Все, Сара, интересное, это самый интересный журнал.

— Это хорошо! — вдруг засмеялась Сара. — Мы у себя в ЖЭКе тоже журнал выпускали. "Еж" назывался. Так я чего смеюсь? Этот журнал был сатирический, мы в нем всяких разгильдяев прохватывали. Был у нас Востриков Иван, пьянь ужасная, жену колотил. Как надерется — просто ужас! Ну, вот, решили мы, значит, его в "Еже" протащить и нарисовали такую карикатуру: громадного ежа, Лялька Силина у нас художница была. Так вот, нарисовала она ежа, а на ежа Вострикова посадили. Голым задом, и карикатуру в красный уголок. Если б вы знали, как народ смеялся! Главное, Востриков к нам врывается и на меня с кулаками, да только не на ту попал: "А ну, пьянь, попробуй! Да тебе за покушение на общественницу знаешь что будет?" А наутро стучится так тихо-тихо. Тетя Сара, ты меня извини за вчерашнее, пожалуйста, я выпимши был. А у меня, Витя, знаете, как: нас не тронешь, мы не тронем, а затронешь — спуску не дадим! Пожалуйста, Востриков, на комиссию!

— Сара! Послушайте, о чем вы? У меня же совсем другой журнал, литературный.

— Я знаю, что другой, мы с Залманом в Вильнюсе все журналы выписывали: "Новый мир", "Октябрь", "Здоровье". На "Здоровье", правда, лимит был. И вот однажды меня обошли, так вы знаете, Витя, какого я им дрозда дала.

— Сара! — раздается откуда-то снизу, с лестницы, это уже Залман возвращается домой. — Сколько тебя ждать?

— Явился, не запылился! — встает Сара и берет журнал, — ну, что ж, почитаем. Только вы на меня, пожалуйста, не обижайтесь. Если что не понравится, я прямо в глаза скажу. А то у меня была соседка, Сорокина, персональная пенсионерка. Так, грамотная была, образованная, но чуть что — в райком бежит и вот сплетни разводит.

— Сара! Ты идешь в конце-концов, или ты не идешь?!

— Иду! Иду! — смеется Сара, — а постоишь — тоже не растаешь!

Сара уходит, я снова остаюсь один и погружаюсь в журнал. И снова начинаю листать. Я чувствую в этом моем листании какая-то паранойя, но ничего не могу поделать.

В дверь снова звонок. Наконец-то жена! О господи, Котлович, со своими насаждениями. Определенно мне Бог за что-то мстит. Мысли лихорадочно мечутся: что же ему сказать? Может быть, я болен? Могу же я, в конце-концов, заболеть. Но — поздно!

— О Боже, как всегда, я не вовремя, — вплывает он в дверь, прижимая обе руки к груди, — как не вовремя!

— Да, адон Котлович, сегодня вы как-то не совсем. Но он, словно не слышит меня, и запускает руку в портфель.

— Как мне неудобно вас беспокоить! Как неудобно! — продолжает он, и список жильцов появляется на столе.

— Понимаете, адон Котлович! — решаю не сдаваться я, — у меня сегодня очень важное событие...

— О, что вы говорите, и я с этим списком!

— Да, адон Котлович, сегодня вышел первый номер моего журнала...

— О! Что вы говорите! И моего тоже! Какое совпадение! Наше министерство начало выпускать для своих сотрудников журнал "Кэцер" — ах, какой журнал, адон Перельман!



— Да нет же, нет! — теряю я терпение. — Я выпустил свой собственный журнал.

Котлович нежно берет первый номер из моих рук.

— О, как интересно! Как я рад за вас, адон Перельман! От всей души! От всей души! На каком же это, интересно, языке? На русском? И в такой день я смею врываться! У вас такое торжество, а я с этим списком. Кстати, адон Перельман, вы слышали, какая неприятность? Персы опять не хотят платить! О, если бы у вас была минутка, и мы бы вместе спустились...

Я вижу, как его указательный палец, мечущийся вверх и вниз по списку, притормозил возле моей фамилии. Почувствовав необратимость событий, я достаю чековую книжку и выписываю положенные за насаждения 145 лир 50 агорот. Он берет чек и, рассыпаясь в благодарностях, медленно пятится к двери.

— Адон Перельман! Всего вам самого доброго в вашей благородной деятельности, — он крепко жмет мне руку и, покосившись взглядом на чек, вдруг снова устремляется ко мне. Мне кажется, что переполненный восторгом, он хочет поцеловать меня, но он, сложив бантиком губы, едва слышно шепчет в ухо:

— Адон Перельман! А за персов, за персов забыли — 17 лир сорок агорот.

Я выписываю другой чек — мне кажется, что он никогда не уйдет, но вот за ним захлопывается дверь. Снова звонок, но теперь уже телефонный. Господи! Сколько лет, сколько зим! Гриша Майзлин звонит, чтобы поздравить меня с выходом первого номера.

— Причем не только от себя, Виктор, но и от ряда товарищей. Мы только сегодня утром говорили о тебе в ЦК. Я прямо им сказал: "Хотите, не хотите — а журналу надо помочь! Если не поможете вы, — это сделают другие!" Хорошо я им сказал, прямо под дых! И между прочим, они меня знают, Виктор. Если я что-нибудь говорю, — это так и есть...

Кладу трубку и чувствую, как я устал, с семи часов на ногах, а ведь уже сорок шестой год, — не юноша! А сколько бы-

ло тогда? Двадцать семь? "Дорогу, товарищи, дорогу, идут авторы "Дела Тихомировых!"

Сидящий на коленях Чарлик пытается лизнуть меня в нос — единственное живое существо в пустой квартире. "Все, что было, все, что было, то давным-давно уплыло!" Все кануло в Лету! Но чудо? Неужто в такой день невозможно чудо? Я столько лет к нему шел... Мысли снова прерывает звонок телефона. На этот раз говорят из Неве-Шарета, какая-то пациентка жены.

— А что, доктор Перельман еще не дома? — поет она в трубку.

(Господи, за что? Я так устал, я все эти ночи не смыкал глаз, и вот теперь, в благодарность за все... Господи! Ты велик и всемогущ, избавь меня от нее!)

— А где все-таки доктор Перельман? Может быть, она на вызове? А это кто? Ее муж? Здравствуйте, вы, кажется, журналист? Между прочим, я уже давно хотела с вами поговорить. Дело вот какого рода. Мой племянник — тоже журналист, работает в газете "Ригас Балс", и, вы знаете, неплохо устроен. — (Господи! За что?!) — Так, вы знаете, адон Перельман, в каждом письме он мне крутит голову: ехать ему или не ехать? А что я ему могу сказать? "Бросай, Арон, все и приезжай!" Это я ему могу сказать? Нет, извините! Мы с мужем на себя такой ответственности брать не собираемся. Но что я, адон Перельман, подумала? Может быть, вы ему напишете! Где вы сейчас работаете? В "Нашей стране"? — (Боже, откуда взять силы? И почему в такой вечер нет рядом жены?!) — Где вы сказали, в "Клубе"?

— Нет, не в "Клубе", ни в каком не в "Клубе". Я сам выпускаю журнал!

— Вы выпускаете журнал? Ой, как интересно! Какой?

— "Время и мы"!

— Время и что?

— Не что, а мы!

— Так, может, у вас и для нашего Арончика будет место? Сколько у вас работников? Сколько? Адон Перельман, миленький, черкните пару слов! Вы хотите, чтобы я вам сейчас дала адрес?



Нет, это уж слишком! Какой адрес? Какой Арончик?! Пусть передаст все через жену.

— Пожалуйста, я постараюсь что-то сделать, но адрес, будьте добры, через жену, через доктор-Перельман!

Я выключаю телефон, раздеваюсь и укладываюсь в постель. Журнал беру с собой. Пожалуй, надо все же перечитать. Я открываю первую страницу и чувствую, как слипаются веки. Сил хватает только на первую фразу...

Просыпаюсь далеко за полночь от криков, несущихся снизу, с первого этажа. Ну, конечно же: очередное побоище в квартире у персов. Грозные крики владыки сменяются жалобным тонким плачем: "Ани мета! Ани мета!" Я чувствую, что уснуть не удастся, но самое любопытное, что это обстоятельство на сей раз ничуть не огорчает меня. Я нежно, на ощупь, беру со стула журнал и зажигаю ночник. Журнал так и остался раскрытым на той же седьмой странице, которую я не смог прочесть. С этой страницы начинался Кестлер, это была первая страница прозы, с нее начиналась новая история моей жизни. Так, по крайней мере, я думал тогда.

Так вот, на этой судьбоносной странице я и обнаружил мину! Как обнаружил? Очень просто! Как я впоследствии их обнаруживал всегда. Делал я это блестяще, но всегда... с небольшим опозданием.

...Внизу горланили персы, и я никак не мог сосредоточиться и перешагнуть через первую кестлеровскую фразу: "Дверь камеры захлопнулась за Рубашовым". Скандал у персов затягивался. По-моему, подъехал полицейский "Джип".

Наконец, оторвавшись от первой фразы я перешел ко второй и затем к третьей — к описанию камеры, где сидел кестлеровский герой. В этом описании я вдруг, к своему ужасу, и увидел то, чему не хотели верить глаза. Грубая орфографическая ошибка! Вот она, эта фраза, сначала и до конца: "Справа у стены была койка, на ней лежали две довольно чистые простыни и соломенный матрац... Кран умывальника не работал, и параша не пахла: как видно, только что продез-е-нфицировали". Это была четвертая фраза и седьмая строка романа, первая страница прозы и новая страница моей жизни, которой суждено было начаться с этой нелепости.

За окном светало, крики в квартире персов стихли, и полицейский "Джип", судя по всему, уехал. А я (который раз!) перечитывал эту страницу и пытался представить реакцию читателя. Конечно же, увидят! Все увидят! А кто пропустит — не преминут просветить. Ах, сколько же будет доброхотов! Я даже представлял все в лицах: "Послушай, читал журнал "Время и мы"? Видел, чего они отчебучили? Продезенфицировали? Через "е". Понял? Издатели! Грамотеи! Правила бы поучили!"

Первыми заметят наши доблестные пенсионеры, которые завалят редакцию возмущенными письмами. "Уважаемые господа! Дозвольте задать вам вопрос, как это могло случиться? В самом первом номере литературного журнала, на первой странице, в четвертой фразе, в седьмой строке..." О, эти-то подсчитают все! И раззвонят всему миру, и пойдут письма в редакцию. Бог явно сводил со мной счеты, я не знал, за что, но без его злокозненного вмешательства всего этого не могло произойти. В такой-то день... Когда я ждал чуда.

Дверь в редакцию мне открыла Женюрка, она была все в том же китайском пеньюаре, вся благоухала и сказала, что они с Семой приглашают всю редакцию на маленький сабантуй по случаю выхода первого номера.

— Салют, редактор! — приветствовал меня из столовой Сема.

Он торжественно восседал в кресле на председательском месте. Справа от него благоухала Виолетта, слева празднично улыбалась маленькая седовласая Пнина. Были тут еще две каких-то Женюркиных приятельницы. Сема долго выковыривал пробку из бутылки шампанского, наконец она выстрелила, едва не угодив ему в лоб. Но он бутылку быстро перевернул и, налив каждому, сказал, что пьет за журнал "Время и мы".

А у меня не выходила из головы ошибка. Когда Сема поднял новый бокал, теперь уже за второй номер, и стал разводить канитель, чтобы в нем не повторялись ошибки первого, и даже вспомнил про рабби Штейнзальца, я не выдержал и прервал его. И у всех на глазах вытащил из рядом лежащей



пачки верхний экземпляр и, раскрыв его на седьмой странице, сообщил о случившемся.

Женюрка первая прервала наступившее гробовое молчание.

— Ну что, что случилось? — воскликнула она. — Чтобы это было у вас, Виктох, последнее несчастье. Ну так неправильно написали эту дезинфекцию! Агиц ин паровоз!

— Нет, нет, подожди, Евгения. Я принципиально с тобой не согласен, — прервал ее Сема. — Что значит — агиц ин паровоз? Это, знаешь, куда мы так уйдем. У меня вопрос к нашей уважаемой Виолетте. Скажите, мадам, вы, когда читали, знали, как это слово пишется, или не знали?

— Ай, Сема, что ты лезешь к ней в душу! — воскликнула хозяйка. — Знала, не знала, что за глупый вопрос?

— Ну, если я задаю глупые вопросы, то вообще обходитесь без меня! — поднялся Сема и вышел из столовой.

— Обиделся! Обиделся! — весело воскликнула Женюрка и побежала вслед за ним. Ее приятельницы тоже встали из-за стола и, пожелав мне творческих успехов, сказали, что им пора.

Я же подошел к Виолетте и едва слышно, но со значением (ох, с каким значением!) спросил:

— Ну, что вы скажете как корректор?!

— Что я могу сказать? — скромно потупила она взор. — В жизни все бывает.

— В жизни? — переспросил я. — Это смотря в какой жизни.

— Что вы хотите этим сказать?

О! Я хотел ей кое-что сказать, но вдруг понял, что все, что бы я ни сказал, не имело значения. Оставался, в сущности, один выход: исправить чернилами *"е"* на "и" во всех трех тысячах экземплярах.

— По-моему, идея гениальная, — сказал Сема. — Евгения! Сколько у нас ручек?

— Виктох, вы сошли с ума, вы же будете исправлять два года...

Но Сема уже нес из столовой три авторучки, и к десяти вечера мы уже закончили тысячу семьсот экземпляров. Ис-

правляли все, кроме Семы. То есть Сема тоже что-то делал, но главную свою задачу он видел в том, чтобы не допустить промедления.

— Темпы, друзья, темпы! Сиголовская, Женюрка, да вы же так никогда не кончите!

Но больше всех он мучил старенькую Пнину.

— Пнина, что это у вас за "и" — не "и" — а какой-то инвалид отечественной войны! Вот как "и" делается, — показывал он ей, выхватив ручку. — Раз, еще раз — и диагональ. Небось еще до революции учились. Признайтесь, когда учили алфавит? Ну, давайте еще: раз — палка, два — палка, диагональ!

— Сема, что ты хочешь от Пнины? — вмешивается Женюрка. — У нее же чудесно все получается. Пниночка, он просто к вам неравнодушен!

— Ой, клякса! — восклицает Сема и, отбросив испорченный им журнал, говорит: — Все, на сегодня хватит, пора браться за опыты!

Сема выходит из столовой, но тут же снова возвращается к Пнине.

— Ну, как, уважаемая, усекли? Вижу, плохо усекли. Любое дело требует умения. Вот смотрите, моя жена тоже ведь не сегодня гимназию кончила, а какое у нее "и", сравните ее "и" и ваше. Кстати, редактор, пока женщины здесь работают, у меня к тебе разговор.

И, прихватив с собой журнал, Сема приглашает меня в столовую.

— Я, редактор, хотел с тобой поговорить, как мужчина с мужчиной. "Дезинфекция" — это все печки-лавочки. А вот то, что у тебя антисоветчина на каждом шагу — это посерьезнее! — Он пожевал губами, почесал за ухом, что-то собираясь сказать еще, но никак не решаясь. — Ну в общем так: если гебешники взорвут нас, что ты тогда скажешь?

— Не взорвут! — ответил я.

— А ты откуда знаешь?

— Знаю! — со злостью ответил я и отправился обратно в наш пенал, где во всю кипела работа.

Закончили на другой день, к полуночи. То есть заканчивал



я один. Из спальни доносилось мерное посапывание молодоженов. Пнину и Виолетту я давно отпустил, полагая, что как редактор обязан уйти последним. Часы в коридоре пробили двенадцать. На среднем пальце выросла мозоль. Страшно ломило спину. Я положил на место последний десяток исправленных журналов — всего исправлено было две тысячи девятьсот девяносто один. Шесть оказалось бракованными и три испортил Сема.

"Время и мы" снова был самым грамотным русским журналом. Чудо свершилось! Я подумал, а что, если бы все это случилось в "Современнике"? Нет, нет, в "Новом мире" у Твардовского.

И вот вам картинка. Занавес. Твардовский с Дементьевым и Дорошем, рассевшись по-турецки на огромном ковре, среди заставивших весь кабинет Твардовского журналов, что-то медленно колдуют над каждым номером. Только сейчас замечаю, что я тоже на полу и никак не могу встать. Я представляю, как встают Дорош с Дементьевым, и мне становится весело. Я отряхиваю брюки и снимаю с вешалки свое вечное кожаное пальто.

— Редактор, а редактор! — горланит во всю мочь из спальни Сема, — не забудь дверь на ключ запереть. Женюрка, ты ему ключ оставила?

— Оставила, оставила, что ты, Семка, за человек...

Я выхожу на лестницу, иду не спеша вниз, и над головой моей так же медленно и не спеша опускается занавес.

## САГА О ЧЕРЕМУХЕ

Вот сменяются перед вами, читатель, сцена за сценой и, очертя голову, мчитесь вы со мной вперед, словно бойкая, необгонимая тройка, и смешно вам временами, и кто знает! — может быть, про себя думаете, какое это славное занятие писать про свое прошлое разные веселые истории. И не исключено, что где-то в глубине души завидуете мне: ах, как лихо у него все это получается с этим редактором порнографичес-

кого ревю Сегаловым-Фрумкиным и его машинистской Сарой Лазаревной и другим главным редактором и гением нашей эмиграции Немой Горфинкелем, и с этим первым номером журнала "Время и мы", появление которого провозгласил на весь мир, выскочивший на лестницу в своих синих москвошвеевских трусах Сема Житницкий.

Но поверьте, что вся эта лихость — только иллюзия. Вы и представить себе не можете, какие это несусветные муки писать комедию про живых персонажей, которые готовы вам все простить, кроме желания представить их такими, какие они есть. Нет, нет, вам только мнится эта бойкая, необгонимая тройка и этот пересмешник автор, развлекающий вас веселыми историями. А я стучу, вот уже шестой месяц, по тугим клавишам моей, еще из России, железной "Оптимы", упершись глазами в дом моего соседа Винограда и чувствую, как немеют пальцы от бесконечных переделок написанного. Бывает и день уходит впустую, и два — и не бойкая, необгонимая тройка, а ворох никому не нужных и зря исписанных листов с присвистом летит в корзинку.

А бывает, обессилевши, я встаю из-за стола и, привязав на поводок своего состарившегося за последние годы Чарлика, отправляюсь бродить с ним по Леонии.

— How are you! — еще с крыльца я вижу солнечную улыбку соседа напротив, которого всегда путаю с его кузеном.

— Fine! — с трудом выдавливаю я и бреду себе с Чарликом вверх по нашей Хайвуд-авеню, затем сворачиваю на Полин-бульвар, а оттуда вниз, на Парк-авеню — и обратно к дому.

Чарлик — чья порода так и осталась для меня загадкой со дня его рождения в Израиле — самое общительное существо на Хайвуд-авеню. В свои девять с половиной лет (хоть они и равны моим пятидесяти четырем) он все еще холостяк. И, выросши на вольных и шумных улицах Хадар-Йосефа, ведет себя в Леонии, как потерявший голову, провинциальный Дон-Жуан, забывший, что вот уже третий год живет в мире высшей цивилизации.

Вырвавшись из дому, он тащит меня за поводок из стороны в сторону и сладостно обнюхивает своим кожаным носом



каждый клочок земли. У каждого столба он делает свои собачьи дела, бесстыдно вскинув заднюю лапу и провожаемый подозрительными взглядами из окон — как бы не отважился на худшее, за что хозяин, прозевавший "священнодействие" подлежит немедленному штрафу.

А он ничего не подозревая, вдруг заливается призывным дон-жуанским лаем. Этот лай особый и прорезается лишь тогда, когда он чует близкое присутствие дамы, ради которой готов пойти на самое тяжкое преступление — вырваться из ошейника и умчаться навстречу сладостной неизвестности.

Ах, как все просто было там, в Хадар-Йосефе, где бродячие дамы и кавалеры (не имеющие и понятия о высшей цивилизации!) веселыми стаями носились по улицам и при всем честном народе крутили свою собачью любовь.

По правилам, действующим в Леонии, Чарлик вообще лишен права заводить романы. И когда однажды ночью, вырвавшись на Полин-бульвар, он пытался это сделать, то хозяйка его возлюбленной тут же вызвала наряд полиции.

Дело о ночном похождении Чарлика кончилось судом, взыскавшим с меня штраф в размере двадцати пяти долларов — за нарушение какого-то там параграфа, оберегающего в ночное время покой жителей Леонии.

Потерпев фиаско, Чарлик больше не рвется на просторы Леонии, а, примостившись возле моего стола на старинной дубовой кровати, часами пролеживает на ней, мечтая о чем-то прекрасном и несбыточном. Это широченное, колониального стиля ложе с витыми столбиками по углам и резной деревянной спинкой у изголовья — главная достопримечательность, доставшаяся нам от бывшей хозяйки дома миссис Дарлинг. И тяга к нему Чарлика каким-то фантастическим образом стала передаваться мне.

Случается, что посреди работы над книгой, я встаю из-за стола и лениво, прямо в костюме, плюхаюсь на старинное атласное покрывало. Растянувшись на нем во весь роет и уставившись в старинный китайский плафон с висячим шнуром для включения света, я предаюсь вместе с Чарликом разным поэтическим мечтаниям. Мне кажется, что предмет наших мечтаний — один и тот же.

И я и он мечтаем о черемухе (хотя, наверное, и вкладываем в это понятие разное содержание). Что понимает под ним Чарлик, читатель, верно, догадывается. Но что понимаю я? О, если бы я мог это объяснить!

Когда-то это были Быковские лужайки и моя любимая подмосковная дача в Первомайском поселке, и мои очаровательные соседки, сестрички Крыловы, в которых я был поочередно влюблен. Когда это было? В какую эпоху?

Но, оказывается, что и в мире высшей цивилизации, среди воротил Уолл-Стрита человек не может без черемухи, чему я сам являюсь убедительным подтверждением.

...Вот, миновав Сорок вторую стрит, я переступаю порог своего офиса. Утро. Обычно полутемная наша комната залита светом, и я вижу на своем столе рукопись нашего старого и любимого автора — о, как я ее ждал! — таких авторов почти не осталось в эмиграции, все захлестнул поток папок, увенчанных старинной золотой вязью. Завтра, а может быть, уже и вечером я залягу в свое колониальное с резной спинкой ложе и буду читать и наслаждаться: ее мыслями, цветами, запахами... А в ногах у меня примостится Чарлик и, уткнувшись кожаным носом в окно, будет вспоминать свою буйную молодость на шумных и вольных улицах Хадар-Йосефа.

Под рукописью, которая обещает мне столько удовольствия, целая гора подписок и чеков — один, другой, третий...

— А что, Гилдесман не передавал мне привета? — спрашиваю я свою правую руку и зама.

— Нет, не передавал! Он вчера улетел в Израиль и будет только к концу месяца!

— Смотрите! — восклицаю я, — ни одного счета и платежки!

В комнате становится еще светлее, и солнце, прорвавшись сквозь каменный колодец, куда выходит наше окно, веселыми зайчиками гуляет по всем углам. И моя правая рука и зам так нежно перебирает пальчиками клавиши композера, что его звуки чем-то напоминают мне "Лунную сонату" Бетховена. И я не знаю, сколько еще дней эта моя жизнь была бы сплошной черемухой, если бы не взрыв, потрясший весь наш отсек 511-А: лопнул наш самый перспективный и имевший



столько завистников бизнес — "Мумие Инкорпорейтед". Из далекой Индии на Пятую авеню перестало поступать целебное мумие.

Однако, будучи свидетелями этого драматического события, мы еще раз убедились, что Америка — страна великих возможностей. Ибо не прошло и недели, как на месте "Мумие Инкорпорейтед" возник во много крат более перспективный бизнес — "Астролоджи Инкорпорейтед", и его создатель, наш старый знакомый Нолик Вольман, теперь уже действительно семимильными шагами идет к своему первому миллиону. Так вот, я вас спрашиваю: что все это значит — неужто лишь презренный металл или какая-никакая, а черемуха?

Кстати, к вопросу о прозе жизни и черемухе. Недавно в нашем отсеке чуть не возникла еще одна корпорация — может быть, самая фантастическая в Нью-Йорке, который, как все мы знаем, непросто удивить. Но эта одним своим названием заставила бы содрогнуться любого из воротил Уолл-Стрита. Так вот, мы получили шанс заиметь по-соседству издательскую фирму, именуемую ни более ни менее, как "Лазарь Каганович Публикейшен".

Вы скажете: "Фантасмагория! Чертовщина! Какая связь между воротилами Уолл-Стрита и бывшим сталинским наркомом, а ныне пенсионером республиканского значения девяностодвухлетним Лазарем Моисеевичем Кагановичем!"

Я уже не раз подчеркивал, что в этом мире все со всем связано: тексты и жизнь, прошлое и настоящее, презренный металл и черемуха. Только на фоне этой всеобъемлющей диалектической взаимосвязи мы и можем понять тот факт, что Лазарь Моисеевич Каганович, еще в бытность свою железным сталинским наркомом, имел в то же время кучу братьев и сестер в Америке.

И хотя на все вопросы, имеете ли вы родственников за границей, он отвечал "нет", его братья и сестры (будучи фактом объективной реальности) продолжали как ни в чем не бывало здравствовать. И не только здравствовали, но и рожали детей, то есть племянников железного наркома, один из которых, будучи человеком амбициозным, и вспомнил о суще-

ствовании в Москве опального дяди. И более того, задумал даже создать бестселлер под сногсшибательным заголовком "Мой дядя Лазарь" — в котором поведал бы миру о героическом пути верного соратника великого Сталина Лазаря Моисеевича Кагановича.

Все дальнейшее в этой истории происходило в лучших традициях бессмертного Конан Дойля. Скрыв от кого следует о своих родственных связях с Лазарем Моисеевичем, его племянник под видом невинного американского туриста пробрался через черный ход в квартиру своего дяди на Фрунзенской набережной и в один прекрасный день предстал перед его не столько невинными, сколько испуганными очами.

По ходу дела выяснилось, что бывший "железный нарком" еще не забыл идиша. Однако, отвечая на нем своему американскому племяннику, дядя Лазарь, как, впрочем, и его жена тетя Роза, все время с опаской поглядывали на потолок, где, по-видимому, со дня их поселения в эту обитель была установлена подслушивающая аппаратура.

Что за содержательный разговор происходил в этих условиях между дядей и племянником, мы можем только догадываться. Но, вернувшись из России, последний пришел к выводу, что отныне делом его жизни должен стать героический бестселлер о сталинском железном наркоме — "Мой дядя Лазарь".

К чести его, автора, он сразу же решил раскрыть все свои карты руководителям партии и правительства и лично товарищу Юрию Владимировичу Андропову, которые в ответ на этот порыв ответили черной неблагодарностью. Они безо всяких причин отказали племяннику Лазаря Моисеевича во въездной визе, лишив его таким образом возможности встретиться с его любимым дядей и героем будущего бестселлера.

Однако все это лишь предыстория. История начинается с того, что к нам на Пятую авеню явился один мой знакомый, сотрудник весьма известной переводческой компании Нью-Йорка и положил мне на стол целую папку написанных на английском писем. Это были письма всем членам Политбюро — от Андропова до Романова, — а также в ряд международных организаций по правам человека, в которых автор протестовал против нарушения Хельсинских соглашений, требовал предоставления ему права на въезд в СССР для написания книги "Мой дядя Лазарь".



По словам знакомого, дело разворачивалось нешуточное, и ряд международных деятелей уже заявили о новом проявлении антисемитизма со стороны андроповского руководства. И более того, заявили о своей готовности вмешаться и сделать все от них зависящее, чтобы книга о жизни Лазаря Моисеевича Кагановича увидела свет.

— А может, он захочет и по-русски толкнуть? — сказал мой знакомый переводчик. И вот тут-то он и высказал мысль о создании в нашем офисе еще одной корпорации — "Лазарь Каганович Публикейшен". И спросил, как я смотрю на это предложение. "Все в моем бизнесе идет как надо, — подумал я, — и новые подписки и новые рукописи, и тиражи растут... И единственно, чего мне теперь не хватает — это засесть за бестселлер "Мой дядя Лазарь" на русском языке!"

Ну, а что вы скажете, дорогой читатель? Про дядю Лазаря и его племянника? И про вмешательство в их историю мировой общественности? Что это — опять-таки жалкая проза или какая-никакая черемуха?

Однако вернемся в мой офис, где моя правая рука и зам наигрывала "Лунную сонату" на нашем композере. В такие минуты мне всегда приходят в голову светлые образы.

Я уже упоминал, что характер у моей правой руки не сахар, и идиллия, наступающая время от времени в наших отношениях, продолжается недолго.

Дело в том, что на мотив "Лунной сонаты", которую она наигрывала на композере (на что не пойдешь, чтобы привнести в свою жизнь немного черемухи!), на самом деле исполнялась предыдущая глава моей книги, в которой я рассказывал о прогромыхавшем в моей жизни залпе "Авроры". И как всегда, по поводу написанного мной, у моей правой руки нашлись свои соображения, не имеющие к гениальному Бетховену никакого отношения.

— Ну, что это за душевная нещедрость! — восклицает она, и

я чувствую как "Лунная соната" сменяется "Танцем с саблями". — Ведь в этой главе у вас никого, кроме вас самого, нет! (Нескромность — в глазах моего зама — высшее моральное преступление автора.)

— Это вы просто так говорите, оттого, что плохой оригинал и вам неохота набирать! — отбиваюсь я, уже забыв про всякую черемуху и мечтая только о том, чтобы она закончила набор.

— Нет! Нет! — свистят саблями под ее пальцами клавиши. — Оригинал тут не при чем! Просто это не "комедийно-философское повествование", а панегирик в собственный адрес!

Она чувствует, что перехватила, и звуки свистящих сабель снова сменяются нежными переборами клавиш.

— Я бы могла, Виктор, вам этого и не говорить, но ведь вы сами знаете, как будет неприятно, если все они на вас набросятся.

"Они" — на нашем условном языке — это эмигрантская печать, которая только и ждет удобного момента, чтобы сравнять с землей журнал "Время и мы" и его редактора.

— Что, вы один выпускали журнал? — вдруг снова вырывается из композера сабельный свист. — Один? Да? И никто его не оформлял? И никто не переводил Кестлера? И не было членов редколлегии?

Этот свист, мгновенно заглушивший Бетховена, повергает меня в уныние. Права она, права! И не поможет мне никакая черемуха, ибо вот уже грядет мой судный день, когда "они" подвергнут меня справедливой процедуре четвертования — за всех, кого я обошел, не заметил, недооценил!

Но как избежать четвертования? Чтобы настроить моих врагов на чарующие звуки "Лунной сонаты", я готов — ни секунды не медля — подбросить черемухи и рассказать о всех неупомянутых и недооцененных.

С кого начать? Да вот, хоть со Льва Ларского, отца русскоязычной печати в Израиле. В прошлом наш Кукрыниксы и Иван Федоров, а ныне скромный труженик пера и рейсфедера тель-авивского института картографии. Он и сейчас стоит перед глазами как живой и неувядающий символ черемухи.



Итак, занавес. На одном конце провода я, на другом — наш художник Ларский. Как старые знакомые, мы называем друг друга исключительно по фамилиям.

— Здорово, Ларский!

— Здорово, Перельман!

— Хочу тебя попросить, Лев, сделать обложку для моего журнала.

— Ох, Перельман, чует мое сердце, что втравляешь ты меня в авантюру.

— Но это же благородное дело, Лев, — литературный журнал!

— У всех, у вас, Перельман, благородные дела...

— Но мы же заплатим...

— Знаем, как вы платите!

— Но, Лев, самый последний раз!

— Знаем эти последние разы. В общем, дай мне подумать.

Ларский подумал и, спустя две недели, принес макет обложки журнала "Время и мы", которая и по сей день украшает наше издание.

А вот и еще черемуха: мой диалог с будущим переводчиком Артура Кестлера Георгием Беном. С Беном мы были знакомы недавно и потому звали друг друга исключительно по именам.

— Здравствуйте, Жора!

— Здравствуйте, Виктор!

— У меня к вам интересное дело — не возьметесь ли за перевод Кестлера для нового журнала?

— За перевод Кестлера? Гм. Но простите, Виктор, за прозаический вопрос: кто будет платить?

— Будем просить для вас стипендию в Министерстве абсорбции.

— Гм… Стипендию? А сколько это в месяц?

— Шестьсот лир, Жора!

— Гм… Не очень! Но разрешите подумать.

Жора подумал и через неделю приступил к работе. Его перевод "Тьмы в полдень" Кестлера остается лучшим по сей день.

И, наконец, редколлегия журнала. Но это уже была чистая черемуха. Ибо никто из ее даже самых знаменитых членов и не заикнулся о презренном металле. Зато какие появились имена! А могли быть и еще более громкие, просто скромность мне помешала. И все благодаря нашему старому знакомому Боре Залмановичу, бывшему заву русским отделом партии "Авода", а ныне посланнику Южно-Африканской республики Бонвада в Израиле (или наоборот — посланнику Израиля в республике Бонвада).

Узнав о моих планах издавать журнал, Боря сам позвонил мне в редакцию и, нежно меня поприветствовав, сказал:

— Фигуры нужны тебе в редколлегию, фигуры!

— Да, нужны фигуры, — согласился я, — но где их взять?

— Ну это ты, Виктор, поручи мне, — уверенно ответил на другом конце провода Боря. — Кого бы ты хотел? Голду Меир? Игала Алона? Абу Эвана?

— Да, нам бы можно и поменьше, — нерешительно пробормотал я.

— Ну ладно, — великодушно заметил Боря, — для начала дадим тебе Йосефа Текоа, он только что вернулся из Нью-Йорка, с Совета безопасности. Ну и еще, пожалуй, Ярива, начальника израильской разведки... Сегодня оба получат по звонку из ЦК.

О, как же был прав Гриша Майзлин, утверждая, какая это сила — партия Бен-Гуриона. Назавтра после разговора с Борей я позвонил представителю Израиля в Совете безопасности Йосефу Текоа.

— Шолом, адон Текоа! — говорит редактор журнала "Время и мы" Перельман. Не согласитесь ли стать членом нашей редколлегии?

— Шолом, адон Перельман. Очень рад вас слышать. Членом редколлегии? Да мне только что звонили из ЦК. Простите, а что мне придется делать в этой должности?

— Ровным счетом ничего, адон Текоа, только имя.

— Так меня и информировали в ЦК, адон Перельман. Ну что же, ответ положительный!

В разговоре с генералом Яривом вышла маленькая заковыка. Генерал ни одного слова не знал по-русски.



— Ну это уж сущая чепуха! — успокоил я его на иврите. — Нам нужно ваше имя, а язык у нас есть свой!

— Так меня и информировали в ЦК, — сказал генерал Ярив. И в составе нашей редколлегии появился начальник израильской разведки.

Вот я и восполнил пробелы, в которых могли меня упрекнуть будущие критики и о которых напомнила мне моя правая рука своим "Танцем с саблями".

Да только гложет меня червь сомнения — удовлетворятся ли "они" этим и не поставят ли со всей принципиальностью вопроса, который вот уже много лет не дает покоя моим доброжелателям. Недаром я даже книгу начал с этого самого загадочного феномена нашего журнала: "Если он такой уж независимый и беспартийный, то на какие деньги живет? И откуда их получил с самого начала? Про полтора номера мы знаем — но откуда остальные?"

Черемуха черемухой, джентльмены, а от презренного металла никуда не уйти. Так что придется рассказать всю правду. Все равно рано или поздно обо всем дознаетесь. Так что уж лучше самому покаяться и не тащить на себе тяжкого груза. Зато, как же полегчает после всеочищающего покаяния!

Впрочем, наш читатель — стреляный воробей, и одного покаяния ему недостаточно. Помните, как учил самый выдающийся правовед нашей эпохи Андрей Януарьевич Вышинский: "Признание — признанием, но нужны и факты, подтверждающие это признание".

Так вот, перехожу к фактам, как получил я на журнал деньги от одной из самых могущественных, влиятельных и разветвленных организаций современного мира. Я вошел с ней в соглашение на таком уровне, какой не мог присниться моим самым въедливым и проницательным критикам. Да, я имел личную встречу с председателем этой организации, которому прежде чем получить деньги, изложил свой план — создать журнал, имеющий целью подчинить своему влиянию всю советскую эмиграцию в Израиле.

Вначале председатель поморщился, усомнившись в эффективности моего предприятия. Но потом, сменив гнев на ми-

лость, заметил своему помощнику, что "этот еврей ему чем-то нравится", и велел спустить соответствующее распоряжение по инстанциям и, в частности, своему главному агенту в Тель-Авиве Исраелю Бар-Хаиму, начальнику олимовского отдела Израильского банка развития. Опережая события, скажу, что от этого последнего я и получил чек на 40 тысяч долларов.

Ну, джентльмены, ну! Вы уже так близки к цели! Еще мгновение, и раскроется тайна, годами лихорадившая третью эмиграцию: откуда Перельман получил деньги на журнал "Время и мы"? И если есть у меня оправдание, то одно-единственное: не один я получил деньги от этой организации, но и будущий владелец русско-еврейского ресторана "Березка" Лева Вайсман и будущий хозяин Хайфской бензоколонки — Йося Рубин, и создатель кооператива "Строитель" Пиня Мессер. Сотни новых олим получили деньги из той же организации, откуда получил их журнал "Время и мы" и чье название — Сохнут — я уже вскользь упоминал в этой книге.

Надеюсь, что и вы имели в виду именно эту организацию. Когда жаждали услышать от меня всю правду. Эту или другую? Но, если другую, то я не знаю, джентльмены, сколько извилин надо иметь в голове, чтобы поверить, что я был удостоен личной встречи с председателем той, другой! К тому же, если вы помните, председатель говорил со мной на идиш. Или вы думаете, что Юрий Владимирович Андропов (который, как мы знаем из осведомленных источников, знал три иностранных языка) ради того, чтобы меня завербовать изучил еще и идиш?

Но, с другой стороны, если все было так порядочно, то к чему эти речи о всеочищающем покаянии? Отчего не тянет на него ни Леву Вайсмана, ни Йосю Рубина, ни Пиню Мессера — а лишь одного меня? Да все оттого, что при всей широте председателя (нет, не Андропова, а Сапира!) от меня потребовалось ни много ни мало, как доказать, что "Время и мы" станет таким же выгодным бизнесом, как ресторан "Березка" Левы Вайсмана или хайфская бензоколонка Йоси Рубина.

И вот тут-то я и пошел на шаг, граничащий с клятвопреступлением. Я заявил и подписал, что журнал "Время и мы"



будет покупать каждый третий оле из СССР и каждый месяц мы будем выбрасывать на книжный рынок 20 тысяч экземпляров и ежемесячно будем получать по 3 тысячи долларов дохода.

— Не много ли? — усомнился в этом месте начальник олимовского отдела Банка развития Бен-Хаим.

— Нет, не много! — ответил я и показал ему красочную листовку: "Время и мы" — каждой олимовской семье!"

Да, мои прогнозы оказались несколько завышенными. Просчитываются и большие экономисты! Почему же не мог просчитаться я? Да и на много ли просчитался? Ну так, не 20 тысяч, а две тысячи экземпляров выбросили на книжный рынок! Ну, так имели не три тысячи прибыли, а три тысячи убытков. Но ведь не разорились же, нет! А вот Лева Вайсман с Йосей, не прошло и года, как объявили банкротство. Ну и что же: объявили и живут. Лева открыл кафе "Пирожок", а Йося — небольшую шашлычную возле Западной Стены плача. Делают, как говорил один из моих героев, деньги (а кто из евреев их не делает!) и не разводят никаких антимоний про какую-то там черемуху или всеочищающую силу покания.

*На этом кончается публикация глав из книги*

Виктора Перельмана
"ТЕАТР АБСУРДА"

*Полностью книга выходит в 1984 году.*

Цена книги 14 долларов, включая пересылку. При предварительном заказе — 11 долларов.

Заказы и чеки направлять по адресу:

Time and We
475 Fifth ave, suite 511-A
New York, New York 10017

*Борис ХАЗАНОВ*

# АНТИВРЕМЯ. МОСКОВСКИЙ РОМАН

*Главы из романа*

## ГЛАВА 3

Я хочу сделать одно предупреждение. Данный текст не является художественным произведением. "Я", от имени которого здесь ведется рассказ, есть именно я и никто другой; не какой-нибудь вымышленный персонаж, а я сам, тот, кто сейчас отстукивает эти строчки, чья фамилия стоит на титульном листе; стояла бы.

Стояла бы, если бы я сочинял роман для утехи и поучения читателей. Но у меня нет и не будет читателей. Зачем же я пишу и для кого? Должно быть, ни для кого. Мне трудно ответить на эти вопросы.

Конечно, я мог бы сослаться на интерес, который публика проявляет к "той эпохе". Но мне как-то неловко. Какая эпоха? Что за слова! Мы жили в эпоху, которой не было. Мы очутились в расщелине времен. Мы все, все наше поколение, выпали из истории. Мы были похожи на действующих лиц в фильме, где пропал звук: что-то говорили, махали руками — а никто ничего не слышал. Это первый и последний раз, когда я говорю о поколении; я не принадлежал ни к какому поко-



лению. Как сказал Иов: "Размышления мои побуждают меня ответить, и я поспешаю выразить их". Нет, лучше уж прямо сознаться, что единственный читатель, к которому я обращаюсь, это я сам.

Не помню, у какого автора я вычитал забавную мысль: он говорит, что порядок жизни есть не что иное, как порядок литературного повествования. Случайные события, встречи, расставания нанизываются на так называемую нить рассказа, выстраиваются в ряд, и на душе становится веселей: начинаешь всерьез верить, что прожил жизнь не как попало, а следуя некоторому предназначению. Произносятся умиротворяющие фразы: "на жизненном пути..." и т.п., — как будто этот путь в самом деле существовал.

Такие соображения полезно иметь в виду всякому, кто притязает на "историзм", другими словами, поддается соблазну внести порядок в зыблющуюся жизнь; кто выстраивает цепочку событий, не замечая, что этим фальсифицирует действительность. По мне, единственным выходом было бы разграфить страничку на сколько-то столбцов и заполнять каждый столбик отдельно, ибо жизнь — это не одна, а множество повестей, рассказываемых одновременно. Только вот кто рассказчик? Иногда мне кажется, что я — чья-то ожившая мысль. И я верую, верую вопреки всему в то, что все случившееся с нами соединено внутренней связью. Память открывает эту невидимую связь. Вглядись в себя, вчитайся; не спрашивай, что было сначала, что стало потом; поступи с прошлым, как дерзкий романист поступает со своим героем, не страшась упрека в том, что он разрушает искусство, — на самом деле он разрушает рутину, он рвет нить времени. Он больше не всевидящий бог, не шахматист, рассчитавший партию на много ходов вперед, для него нет ни причин, ни следствий; откажись и ты от них. Единственное не навязанное никем объяснение событий, единственное, что делает их событиями, это я сам; единственный сюжет, который я могу придумать, — это история моей души.

Здесь будет уместно сказать два слова о герое этих страниц. Я человек сомнительный. Как легко догадаться, мне уже много лет, но каким я родился, таким и помру. С самого

детства сомнение в прочности внешнего мира было главной чертой моего характера. Я всегда испытывал глубокое и непобедимое недоверие к действительности. Я входил в комнату, не сводя глаз с роковой половицы: ступишь на нее — конец, рухнет потолок и провалится потолок. И так на каждом шагу. Я просто гипнотизировал себя! Моя жизнь проходила в исполнении всевозможных ритуалов, в неустанном старании разгадать заговор вещей. Я жил, как прозелит первого века, в вечном ожидании конца света; жил в поле высокого напряжения, чувствуя, как волосы потрескивают на голове, и если все еще оставался жив, то потому, что его генераторы каким-то образом уравновешивали друг друга. Я знал — я знаю это и сейчас, — что существую лишь по чьему-то недосмотру.

И в этом скрывался, как ни странно, источник своеобразного оптимизма! Я научился обманывать злую силу, единственным законом которой было то, что она действовала назло. Возвращаясь домой, я думал: хорошо если бы все к черту. Если бы нагрянули бандиты, если бы снова началась война, если бы мой отец пьяный попал под трамвай, если бы мачеха заболела, если бы мы все умерли от нищеты и горя, и так далее, и тому подобное. Этот гипноз был так силен, что я был уверен, что так оно и есть. И вместе с тем знал, что злая сила сделает все наоборот. Но она не должна была догадаться, что я знаю. И я крался в тусклой мгле, прислушиваясь к хлопанью дверцы и урчанью мотора за углом, как верующий еврей прислушивается к топоту ослицы, на которой едет Мессия, только теперь на ней ехал Сатана. И я смотрел, не стоит ли Скорая помощь перед нашим подъездом. Я входил, холодея от страха, нажимал кнопку и ждал, вот откроется дверь, и кто-нибудь там, в коридоре крутит диск телефона, вызывает врача, милицию. Миг тишины, казавшийся бесконечным! Каменная сырость лестницы! Шаги... И вот наконец мачеха в необыкновенном платье, в обычном своем домашнем халате, с обрывком прерванного разговора на губах, отворяет дверь. И радость, покой, благодарность неведомому Богу за то, что все обошлось, все живы и все осталось по-старому, наполняли мою душу.



## ГЛАВА 4

В приснопамятную пору мне исполнилось тринадцать лет, то было злое, несчастливое время. Я стал худеть, по субботам в бане отец заставлял меня становиться на весы, и каждый раз я терял в весе, я еще не был болен, но должен был заболеть, родители принялись хлопотать о том, чтобы поместить меня в лесную школу, и с этого времени, я думаю, все и началось. Началось, если можно так выразиться, Новое время моей жизни. Детство сравнивают с античной древностью, но я бы назвал его средневековьем, восхитительной, на мой взгляд, порой в истории человечества, а вот отрочество — это шестнадцатый век! Сырой ветер, запах тления, — гниют какие-то остатки, — томительное чувство свободы, мокрые ноги, кризис плоти и взрывы дикого авантюризма. Голова кружится от наплыва мыслей. Вселенские замыслы: придумать новую религию; создать универсальную формулу человека; написать великую поэму. И, наконец, чихнуть на "все" и записаться в Иностранный легион. Этот легион был какой-то фата-морганой, вроде Нового Света. Иностранный легион, братство душ, расквитавшихся с прошлым. Иностранный легион — единственное подразделение французской армии, на трехцветном знамени которого отсутствует слово родина. Какие слова!

Ночью не спится, дьявольское наваждение. Ночью в душе зажигаются тусклые огни, и при свете их видны следы незваных гостей, объедки постыдного пира. Я считаю отнюдь не случайным, что упомянутый кризис совпал с переселением в школу, а далее и с открытием, о котором мне предстоит рассказать. Я даже думаю, что связь вещей была на самом деле иной, то, что казалось причиной, было следствием, и наоборот. Давайте представим себе такой мир, где следствия, так сказать, примеряют для себя причину, чтобы создать видимость порядка и честной игры, тогда как на самом деле это нечестный мир, где все подстроено. Это будет мир, в котором девственницы сначала зачинают, а потом вступают в брак, мир, в котором логический порядок вещей — всего лишь

дань приличиям. И в котором воспаление бронхиальных желез началось просто-напросто для того, чтобы было из-за чего ехать в лесную школу, и школа подвернулась лишь ради того, чтобы дать родителям пожить первое время после свадьбы без меня, вдвоем.

Однажды я задержался в спальне, это было чистой случайностью, я искал подушку, запрятанную каким-то озорником во время утренней суматохи, беготни по кроватям и швыряния друг в друга чем попало. Я бродил между рядами и вдруг почувствовал, что лишь делаю вид, будто занят поисками; я знал, что в спальне я не один. В углу лицом к стене лежал, накрывшись с головой, мальчик, который всегда опаздывал, но не потому, что не поспевал, а из особого высокомерия, из особой аристократической медлительности, словно он был полузаконным отпрыском августейшей семьи и ему не подобало сломя голову мчаться вместе со всеми в столовую. Бросив взгляд в его сторону, я вдруг заметил, что он повернулся на спину и смотрит на меня.

"Ты, — сказал он после некоторого молчания. — Ты чего делаешь?"

"Да вот, — пробормотал я, — з-запихнули к-куда-то..."

"У тебя линейка есть?" — спросил он.

"Какая линейка?"

"А ты почему отвечаешь вопросом на вопрос?"

"В классе есть", — сказал я, чувствуя себя в его власти. Ноги сами тащили меня к нему, словно он под одеялом наматывал леску.

"Хочешь, — сказал он, — покажу одну вещь?"

"К-какую вещь?" — спросил я и сел на край кровати.

Одеяло съехало с его ног. Он лежал, подложив под затылок тонкие руки с острыми локтями и устремив перед собой надменный и скорбный взгляд.

"Хочешь, смерим? — выговорил он. — Возьми рукой".

"Ух ты, черт", — сказал я, и сердце мое колыхалось, как колокол.

"Еще, — говорил он горячим шепотом. — Ну!.. Еще".

В эту минуту в коридоре зацокали каблуки. В дверях стояла воспитательница.



"Мальчики! — сказала она. — Звонков! И ты... (Мою фамилию она, очевидно, не помнила.) — Что это такое? Все давно на завтраке."

"А, сволочь, — проговорил хрипло Звонков, — ты драться?.." Он сидел на кровати, и одеяло покрывало его колени. Воспитательница молча переводила взгляд, с него на меня, я думаю, она догадалась, но не подала виду. На другой день я получил письмо из дому.

## ГЛАВА 5

В старинные времена Сокольники представляли собой глухое загородное место с тропинками, озерцами, болотистыми прогалинами; школа оправдывала свое название. Школа помещалась в двух больших деревянных домах, соединенных переходом. По этому переходу, едва успевал прозвенеть звонок, неслась голодная орда, с шумом и гамом втискивалась в умывальню, рвала друг у друга мокрые полотенца, затем все выстраивались в коридоре у входа в столовую, перед столом, на котором стояли подносы с ложками для рыбьего жира. Каждый получал свою порцию и бежал на место, крича на ходу дежурным: "К нам, мы первые!"

Первыми были мы, то есть наш столик, и суп в тарелках, украшенных пионерскими эмблемами, дожидался нас. Вся школа, четыре отряда, радостно загребала картофельное пюре с подливой, допивала компот и вылавливала вилкой компотное мясо, а мы четверо, два мальчика и две девочки, стояли на видном месте с листочками в руках, и солнце било нам в глаза. Это была устная газета. Все шло превосходно весной 1941 года, сталевары трудились, как никогда, и храбрые германские войска доедали Грецию. Как вдруг я услышал укоризненный шепот девочки, которая стояла сзади меня, держа наготове вести с полей: я нарушил порядок сообщений, перейдя от успехов тяжелой промышленности сразу к сводке германского командования. Я обернулся и в этот момент увидел краем глаза письмо, белевшее в шкафчике возле

двери. Так замечают, садясь в трамвай, женщину, поправляющую чулок в подъезде.

Тотчас трамвай отъехал. Но вдруг, когда немного времени спустя толпа повалила к выходу, мой взгляд опять упал на белый конверт. Моя буква редкая, одна из тех букв в конце алфавита, которые сгребают, как крошки со стола, в последнюю ячейку. Вынув письмо, я узнал почерк моего отца.

Может показаться странным, но я помню текст почти дословно и даже со всеми ошибками: например, слово "аферист" было написано через "и". Я помню, как выглядело это письмо: двойной лист из тетрадки в клетку. Помню затейливые, в виде треугольника, хвостики букв "у" и "д", загибающиеся книзу строчки. Все женщины, независимо от образования и характера, загибают строчки. Ибо рука отца была лишь на конверте, а писала мачеха. Если я где-нибудь и вношу изменения в ее письмо, то лишь очень незначительные.

"Дорогой наш, любимый и дорогой сын!" (Так и было написано: два раза "дорогой".)

"Пишу тебе с согласия папы. Мы долго думали и колебались, и я всю ночь не спала, все плакала, не знала, что делать, но мы все-таки решили, что ты уже большой и должен все знать, тем более, будет хуже, если кто-нибудь посторонний расскажет и нарушит твой покой".

Дойдя до этого места (представляющего собой цитату из арии Германа) и чрезвычайно заинтригованный, я уронил конверт, и тотчас на него наступили. Меня обгоняли и заглядывали ко мне через плечо. Солнце сверкало в ширрких окнах. Я шел по переходу.

Сразу же замечу, предупреждая возможные домыслы, что в дальнейшем никакой особенной роли это письмо в моей жизни не сыграло. Если я его запомнил, то по другим и мне самому не вполне понятным причинам. Мы помним одни факты и забываем другие; прошлое записывается по правилам, имеющим мало общего с его содержанием. Да и прошлое ли это? Порой мне кажется, что весь я один и тот же в одном времени, подобно тому как на старинном витраже события священной истории изображены все вместе. Вот я ползаю по полу, по квадратам горячего света под ногами бегущих, пытаясь спасти конверт; вот я бреду в каменном зале за гробом Вики... Что было сначала, что потом?



"...и нарушит твой покой. В общем, не буду тебя мучать загадками. Позвонил один человек папе на работу и сказал, что необходимо встретиться, надо было сразу послать его подальше, но ты же знаешь папу, тем более он сразу не сказал, в чем дело, а когда пришел, то уже не выгонишь. Хотя держался скромно и прилично одет, сказал, чтобы мы не беспокоились и что он не аферист какой-нибудь и может предъявить документы, а как тут не забеспокоишься; папа ему очень спокойно сказал, что мы не милиция и нам его документы не нужны, но я на всякий случай посмотрела, он прописан в Мурманской области, а где остановился, неизвестно. У него нет на руке трех пальцев, я спросила, где оторвало, он ответил: на производстве, в общем, чуяло мое сердце недоброе".

"Потом он стал рассказывать, что они из одного города и якобы он знал твою покойную маму, и все так складно, папа говорит, что все совпадает, не знаю, может, и совпадает, но разве это что-нибудь доказывает, рассказать можно все что угодно. А доказательств нет, да хоть бы и были, отец не тот, кто родил, а тот, кто воспитал. Дорогой наш мальчик, ты знаешь, как мы к тебе относимся, я всю ночь проплакала, и я хочу тебе сказать, что мы твои родители и никому тебя не отдадим, а когда у тебя родится сестричка, то вы оба будете мои дети..."

И так далее... Письмо может показаться бестолковым, да еще эта манера писать без точек. Однако мачеха моя умела достаточно ясно выражать свои мысли, и если в этом послании она изъяснялась так сбивчиво, то это было вызвано, я думаю, не одним только волнением. Видимо, она старалась исподволь подготовить меня к неожиданному известию.

Я сказал, что помню письмо слово в слово. Возможно, это не совсем так. Думаю, что какие-то фразы все же выпали из моей памяти, иначе оно не производило бы сейчас такого странного впечатления. Пытаясь поставить себя на место

своих родителей, я спрашиваю себя, поступил бы я так, и отвечаю: нет. Появись на моем пути человек, оспаривающий у меня право считаться отцом моего сына, я предпринял бы другие действия и во всяком случае не допустил, чтобы мой сын получил такое письмо. Значит, оно было не совсем таким. Или же придется допустить, что мачеха скрыла от меня правду, то есть что позиции незнакомца были сильнее, чем следовало из ее письма. Быть может, письмо было лишь слабым отголоском событий, которые там происходили и о которых я никогда не узнал. В таком случае моей мачехой двигал не расчет, а отчаяние и растерянность. Именно это я почувствовал с необыкновенной ясностью.

Как бы то ни было, прочитав письмо, я ничего не понял. А может быть, понял все, но уверил себя, что не понял. Скрыл, так сказать, от себя самого эту нелепую новость. Делать было нечего, я вышел на крыльцо и уселся на верхней ступеньке. Весна, необычно ранняя в этом году, уже наступила. Дух тления витал в воздухе. Весна достигла той фазы, когда главная работа уже сделана, снег сошел и нагая земля готова принять плодоносное семя. От бурой прошлогодней травы, от сырых досок крыльца поднимался гнилостный пар. Изумительная мысль неожиданно предстала передо мной. Мысль о бегстве. Иностранный легион! Единственное подразделение французской армии, на трехцветном знамени которого отсутствует слово родина.

## ГЛАВА 6

Крыльцо выходило на задний двор; через калитку, пробравшись вдоль забора, можно было дойти до угла Шестого лучевого просека. Здесь, на ветхих мостках, переброшенных через кювет, я поджидал по выходным дням моего отца. Он приезжал около десяти часов и шел от остановки трамвая в толпе родителей, и я видел издалека его серый брезентовый плащ. На этот раз он не приехал. Я ждал все утро, ждал, сбежав с мертвого часа, после обеда, а вечером перечитал письмо



мачехи, и мне бросилась в глаза фраза: "тем более будет хуже, если расскажет посторонний", — зловещий смысл этих слов только сейчас дошел до меня.

На другой день был урок немецкого языка, я сидел, уткнувшись в тетрадку и страшась взглянуть в окно, — и вдруг в самом деле увидел его: он сидел в беседке, спиной, но я разглядел его маленькую полуседую курчавую голову. Я услышал его голос, его отвратительный акцент; не помню, писала ли мачеха об этом акценте или я сам его придумал. Рука была закинута за спинку скамьи, и я узнал эту руку с отрубленными пальцами. Итак, он приехал за мной, рука готовилась схватить меня. Я отвел глаза от окна: так боец, поднимаясь после нокаута, обводит публику угасшим взором. У доски стояла ученица по фамилии Сеничкина, и я встретил ее молящий взгляд одинокого пловца в пустынном море. Эта глупая Сеничкина не догадывалась, каким пустяком была ее растерянность, какое это было счастье стоять у доски и спрягать глагол mussen, не думая ни о чем; все они не понимали своего счастья. Зазвенел звонок на перемену, во время которой я обдумывал оставшиеся у меня возможности. Мешкать было нельзя. С другого конца коридора Звонков, стройный, как принц Дакар, скользнул по мне таинственно-небрежным взором; но теперь наш заговор не имел значения. Какой-то малыш подошел ко мне, сказав: "А тебя вызывают к директору". Значит, он уже там, он явился, чтобы увезти меня в Мурманскую область. Дверь в учительскую была отворена, завуч стояла у окна и говорила по телефону. Она подняла на меня глаза, продолжая говорить в трубку. Я попятился; но тут показалась учительница, спешившая на урок; пришлось возвратиться в класс.

Я уговорил соседку поменяться со мной местами, чтобы меня не было видно из окна; позже я убедился, что беседка была пуста, — это подтверждало мои предположения. Возможно, он медлил, вняв уговорам директора подождать, когда кончится мертвый час. Мертвый час наступил, и я почувствовал, что дольше тянуть я не в силах. Я должен был немедленно что-то предпринять; все равно что. Голос воспитательни-

цы произнес: "Поворачивайтесь на правый бок и ш-ш..."— это была ежедневная ритуальная фраза. Ее каблуки удалились по коридору. Это была последняя фраза — как удар судового колокола. Невольничий корабль отвалил от берега. Теперь спрыгнуть и вплавь.

С каждым мгновением движения мои убыстрялись. Кое-как я натянул штаны, затолкал болтающиеся шнурки в ботинки.

Уборная находилась в конце коридора. Закрыв за собой дверь, я стоял несколько минут с бьющимся сердцем, слушая тишину. Здесь была укромная гавань, где я чувствовал себя в относительной безопасности; нечто вроде промежуточной остановки, а также запретной зоны, куда не имели доступа взрослые. Здесь выясняли отношения, сводили счеты, отсиживались во время урока, курили и переписывали сочинения; на подоконнике лежало все необходимое: тетрадные листы, огрызок карандаша и ржавое лезвие; здесь мастерили шпаргалки и возвращались в класс вооруженными до зубов. Сквозь замазанное мелом стекло сочился белесый свет, в бачке журчала вода. Собираясь с мыслями, я обвел глазами унылый интерьер, и вдруг меня осенило. Я взял с подоконника то, что там лежало, поднял рубашку и чиркнул наискось от левой ключицы вниз.

Рука вздрогнула, и получилось плохо. Две алые бусины нехотя выступили из пореза. Мне стало досадно. Я брезгливо стер и стряхнул с пальцев вишневые капли. Прижав подбородком скомканную рубаху, я зажал бритву в щепоть и, не торопясь, нажимая, провел несколько штрихов крест накрест. Но полоснуть сосок не хватило духу. Я стоял над облупленной раковиной, разинув рот и прижимая подбородком рубаху и, как девочка, стискивал в ладонях воображаемые груди. Струйка воды бежала из крана, я смывал кровь из ран, которые нанес себе. Зачем? Я и сам не знал. Чтобы испытать силу воли на случай непредвиденных обстоятельств. Так я объяснил это себе.

До вечера я болтался где-то на территории, а ночью исчез из лесной школы.



## ГЛАВА 7

Был человек в земле Уц, и человек этот был я. Не было у него ничего, и все ему было подарено. Было у него все, и всего он лишился. Прошу уволить меня от пересказа дальнейших происшествий. Они неинтересны. Не то чтобы я забыл за давностью лет, что именно произошло дальше, нет, в памяти и сейчас стоит картина бесконечной дороги, по которой я намеревался дойти до станции, запах мокрого леса, серебристо-черная ветошь прошлогодней листвы, луна в голубоватом дыме облаков, и звук несется из неразличимой дали времен, и грохот вагонов, громыханье платформ, цистерн... Словно во сне, я простер руки к этому лязгу и грому... И ноги мои потащились по песку, и сильные и грубые руки, как клещи, вознесли меня на тормозную площадку, трубный голос изрыгнул чудовищный мат — и я уехал.

Но ощущение некоего перелома уже миновало. Разряд произошел, прочее было лишь затихающим эхом. В общем же, если говорить попросту и без эмоций, никаких непредвиденных обстоятельств не случилось. Меня разыскали и вернули. Я был заключен в изолятор, где до меня находился ученик, у которого подозревали скарлатину; приехал врач, разглядывал мою грудь, проверял сухожильные рефлексы и щупал яички, — все это называлось так: "пубертатный криз".

Как это часто бывает, ученое слово внесло успокоение. Таково терапевтическое действие терминов: ничего не объясняя, они восстанавливают порядок, нарушенный вторжением таинственного и необъяснимого. Они как будто дают понять, что таинственное тоже предусмотрено во всеобъемлющей картотеке знания. Кончилось тем, что родители взяли меня из школы, в качестве вознаграждения я был освобожден от экзаменов, но к моему рассказу эти подробности имеют лишь косвенное отношение, и дело не в них.

А дело в том, что это была счастливая ночь! Единственная в своем роде счастливая ночь вдохновения и свободы. Стоит мне только представить ту дорогу, по которой я брел, шагал, шествовал с одним лишь намерением — уйти прочь, и чем

дальше, тем лучше, сырую гниль весеннего леса, тусклый туман и высоко в небе, в светлом кипении облаков голубой кружок луны, стоит увидеть себя на пустынном откосе, увидеть облитые мертвенным светом стальные рельсы, слепящее огненное око, услышать издалека зовущий гудок, стоит мне только вспомнить все это, как поднимается со дна души то, что когда-то затопило ее до краев. Я шел и расплескивал свою свободу. Я больше ни о чем не думал. Я никого не боялся. И я уже не вспоминал о незнакомце и мачехином письме. Быть может, смысл его был на самом деле совсем иной, кто знает? Быть может, оно, это письмо, было благодеянием. Быть может, в высшем смысле оно было лишь поводом. Пускай меня разыскали, вернули и посадили под замок, — я был уже не тот. Я выкарабкался из самого себя: там, в школьной уборной, как некая улика, валялась моя лопнувшая кожа, там коченело изжитое и опостылевшее детство, там осталось все, чем я жил, мыкался и терзался еще вчера, все это валялось и засыхало, как старая кожа. Юная, голая и дрожащая от холода змея, вот кем я был теперь, вот кто уцепился за поручни последнего вагона и, подхваченный чужими могучими руками, вскарабкался, стуча хвостом, на тормозную площадку, — и поехал!

Эпизод с письмом не имел последствий. Теперь я понимаю, что в этом нет ничего странного: мы как будто заключили молчаливый договор, я помалкивал о письме, словно никогда его не получал, они тоже — словно никогда его не писали. Разговоры шли о том, как это я не попал под поезд, не простудился и т.п. Родители были напуганы. Случившееся перечеркнуло то, что было его причиной; так на пожаре не спрашивают, где та спичка, от которой запылал дом. Другими словами, события — бегство, поиски, возвращение, мое молчание, кажется, в течение нескольких недель, раны на груди, которым я отказывался дать какое-либо объяснение, — были достаточным поводом для того, чтобы не вспоминать более о незнакомце, а может быть, мачеха инстинктивно понимала то, что теперь, через много лет, стало ясно для меня самого: что письмо было лишь толчком. Таким образом, оно утратило всякое значение. Кстати: куда оно делось? Кажется, я его выкинул по дороге. Оно могло бы выдать меня, если бы меня поймали. Меня поймали, но письма уже не было. Вполне возможно, что оно выпало у меня из кармана, и я лишь подумал о том, что оно могло служить уликой. Ибо мысли, когда мы о них потом вспоминаем, нередко превращаются в нашем воображении в факты, и, следовательно, некоторые так называемые факты на самом деле были всего лишь мыслями. Что же было на самом деле? На самом деле письма не существовало.



Таким образом, возникает вопрос, в какой мере все случившееся следует считать действительным происшествием, а в какой — отнести на счет пресловутого "криза". Приезжал ли на самом деле этот человек? Ведь он тоже как будто согласился с тем, что его не существует, и, насколько я помню, никогда больше у нас не появлялся. То был призрак, однажды явившийся из туманных и гиблых мест, — чтобы сгинуть там вновь. Вскоре после этого началась война, и все окончательно потонуло.

## ГЛАВА 8

Из чащи лет я смотрю на свою юность, как старцы на Сусанну. Странно и дико подумать, что это то самое тело, в котором я протащился сквозь все эти годы. Мое тело — вот единственное, что соединяет нынешний день с тем далеким и безымянным, о котором даже нельзя сказать, сколько их было, о котором только и помнишь, что это был душный облачный день без дождя и без солнца. Я стою перед створкой шкафа, спиной к окну, и мое тусклое, окруженное серебристым нимбом отражение вперяется в меня сверкающим взором. Есть что-то постыдно-притягательное в этом свидании с чешуйчатым двойником. Вот, если угодно, замечательная черта эпохи, наложившей радикальный запрет на наготу, — ибо наша эпоха упразднила уединение. В коммунальном мире единственным местом, где вы могли остаться нагишом,

была общественная баня. Никогда не существовало столь целомудренного общества, и следствием этого был особый градус чувствительности. Зал вздрагивал, как от удара током, когда вдруг оказывалось, что девушка моей мечты сидит в бочке с водой, откуда торчала ее прелестная головка, и дух захватывало при мысли, что произойдет, когда ей надоест сидеть на корточках. Верхом дерзости и отваги была гипсовая "Девушка с веслом" где-нибудь в Парке культуры, в бетонных трусах, забронированная лифчиком.

Из провала за мной шпионит мое "я" с тем же очарованно-обалделым выражением, с каким я вперяюсь в него, и вопрос, мучающий меня, — как я выгляжу, каков я? — остается без ответа. Я не в силах соединить части своего тела в единый образ и увидеть себя чужими глазами, скажем точнее: глазами незнакомой, слегка заинтересованной женщины. И я вижу только то, из чего я составлен: узкие плечи, грудная клетка, словно плетенка. Несколько тонких белесых шрамов перечеркивают наискосок мою грудь. Длинный впалый живот и мальчишеские бедра. Что касается того, что именуют мужским естеством, оно у меня позорно маленькое: жалкий грибок выглядывает из темных завитков.

Звонок в коридоре врывается в мой слух — я застигнут на месте преступления. Тишина и снова звонок. Я открываю, полный стыда и смятения. На площадке стоит мачеха, держа за руку моего маленького брата Даню, в другой руке у нее сумка с картошкой. Она везет ее из Мытищ. Капельки пота, как роса, покрывают ее лицо, на губах пламенеют остатки помады, прядь волос выбилась из-под косынки, она отдувает ее уголком рта. Шествие по коридору втроем. Впереди я, в майке и трусах, с тяжелой кошелкой, за мной плетется мой брат и бредут, шаркая, ее туфли. Наша комната, до невозможности загроможденная, заставленная мебелью, на столе швейная машина и гора кукол. Белый облачный день. Усталый малыш кряхтит на полу, стаскивая галоши. Мы избегаем смотреть друг на друга, всегдашняя неловкость сгустилась и стоит между нами, словно перегородка из тонкого стекла — заденешь, посыплются осколки; мы обмениваемся незначительными словами; минуту спустя она исчезает, ее тяжелые шаги в коридоре, звук накинутого крючка, затем из уборной доносится шум воды. Она появляется, посветлевшая и умиротворенная. Мы все постепенно приходим в себя. Пометавшись по комнате, стянув через голову тесное платье, она облачится в пестрый халатик, который вернет ей энергию и уверенность, ровное и неколебимое чувство долга.



После долгих лет войны и разлуки моя юная мачеха все еще напоминала деревенскую девушку, круглолицую и крепконогую, и казалась много моложе моего отца. Эта разница с годами даже усилилась: отец старел и ветшал на глазах, а она молодела, что не могло не отразиться на ее отношении ко мне. Обрисовать это отношение было бы трудно, могу лишь сказать, что виной тому была, как мне кажется, не только присущая мне манера все осложнять. В нашей семье всегда был элемент чего-то недоговариваемого до конца, существовала непроясненность, похожая на душный ватный день, не разрешившийся дождем. Некоторые темы, а значит, и целые области языка, находились под запретом, и я думаю, что здесь была полная аналогия с обществом, где вдобавок существовал запрет выяснять, что именно находится под запретом. Например, ни разу — что, впрочем, легко объяснимо — не заходил разговор о фронтовой жизни моего отца, и я так и не знаю толком, где он воевал и при каких обстоятельствах был ранен. Вообще он не любил упоминаний о войне, не терпел патриотических радиопередач, с отвращением отцеплял и швырял в ящик буфета свои медали из дешевого металла, похожего на олово, когда оба они возвращались после долгих и, как всегда считалось, успешных хождений по учреждениям. И такой же запрет был наложен на таинственный сюжет их брака, заключавший в себе нечто священное и стыдное, подобно некоторым государственным секретам, не обсуждаемым, хотя и бывшим у всех перед глазами. Интересно, что они и вели себя так, словно мачеха не была женой и хозяйкой, а какой-нибудь белоцерковской родней — мой отец происходил с Украины — на ролях не то экономки, не то домработницы; они не целовались, не сидели рядом, и разговор их чаще всего

имел вид коротких монологов, которые мачеха произносила перед отцом, останавливаясь, чтобы выслушать его молчаливый ответ. Ее робость — хорошо ли она приготовила, постирала, убрала — сочеталась с бесспорным первенством, которое принадлежало ей в нашем доме.

Странно сказать: я не придумал способа обращаться к ней. Называть ее мамой у меня не поворачивался язык; еще глупее было бы говорить ей "тетя", и к тому же напоминало бы постоянно о нашей ситуации. В итоге я не нашел ничего лучшего, как говорить ей ты в ответ на смиренное "Леня" или даже "сын", произносимое обезоруживающим грудным голосом, каким она умела говорить, жестокое "ты", выпирающее, как кость, и которое я тщетно старался скрыть, пробормотывал и опускал где только можно. И ничто не выражало откровенней, чем это проклятое местоимение, этот злосчастный эрзац отсутствующего имени, ничто не выражало откровенней тягостную стеснительность, спеленавшую нас, как ватное одеяло. Глухое одеяло стыда укрывало нас от зоркого взгляда соседей, всегда склонных принять одну из двух сторон, словно мы в самом деле были враждующими сторонами, жалеющих больного отца и осуждающих мачеху, или, наоборот, жалеющих мачеху и осуждающих отца, как будто кто-нибудь непременно был жертвой другого. Стыд и необъяснимое чувство стыда (за что? и перед кем?) были баррикадой, за которой отсиживались я и мои родители, и так же, как скрывалось от всех, что она покупает продукты на рынке на деньги, вырученные от продажи тряпичных кукол (согласно официальной версии, она отоваривала какие-то спецталоны, якобы получаемые отцом), так скрывались и мистифицировались наши семейные обстоятельства, наша неслаженность, наше необъяснимое неблагополучие, которое она преодолевала единственной бесспорно принадлежащей ей властью — властью любви. И только у одного человека все было в порядке, и он служил чем-то вроде рекламы нашей нормальной и счастливой жизни, человек, у которого была настоящая мать и настоящий отец: это был мой брат Даня, родившийся осенью 41-го года, в



грозный месяц войны, когда все висело на волоске; с ним можно было вести себя естественно и свободно, можно было приласкать его, можно было шлепнуть. Тогда как во мне видели и своего, и не совсем своего, и, пожалуй, даже слишком своего, — некстати вымахавшего переростка, рядом с которым бросалась в глаза ее почти неприличная молодость.

## ГЛАВА 9

Война окончилась победой. Я имею в виду войну, которую мачеха вела за возвращение нам довоенной площади в Лялином переулке. Эта война в канцеляриях, со своей стратегией и тактикой, отважными вылазками и терпеливой осадой, шла с переменным успехом всю зиму сорок четвертого года и часть весны, то есть в месяцы, непосредственно следовавшие за приездом моего отца, война где он представлял собой осадное орудие, вроде бревна, которое раскачивают, чтобы ударить им в неприятельские ворота. Но никогда не было стопроцентной уверенности в успехе, и это, я думаю, было лишь частным проявлением некоего универсального закона.

Если бы меня спросили: какая самая характерная черта нашей жизни во все времена? — я бы ответил, не задумываясь: ненадежность. Заметьте, я не говорю безнадежность. Но никогда и нигде вас не покидает чувство, что вы словно ходите по гнилому полу. И пусть вас не усыпляет кажущаяся неподвижность русской жизни: ничто на самом деле здесь не внушает доверия, ни вещи, ни люди, ни самые основы их существования; никакая теория не гарантирует прочности этих основ. Гигантская махина держится на веревочках и подпорках. И никто не поручится за то, что на следующем повороте у тройки не отвалится передок, не отскочит колесо и не покалечит прохожих: ведь так уже бывало. Пускаться на розыски метафизических оснований этой ненадежности нет нужды. В России метафизика сидит у вас на лестнице. История просит

милостыню на углу, а по невыметенным улицам, мимо обалделых пешеходов, в черных автомобилях проносится абсурд. И на каждом углу вы слышите, как что-то трещит, чувствуете, как все шатается, и из всех щелей и прорех к вам заглядывает злодейский фатум. Где стол был яств, там гроб стоит; в любой день могут кончиться продукты. Исчезнут мыло и спички. Снег завалит дороги. Грязь затопит города. Ведь так уже бывало. Однако я замечаю, что вновь растекся мыслью по древу; буду лучше продолжать.

Как уже говорилось, мой отец был демобилизован осенью 1944 года; к этому времени мы вернулись из эвакуации и жили на дальней окраине за Соколом, на улице Розы Либкнехт. Думаю, во всей округе не было человека, который мог бы припомнить, кто такая была эта дама или кто такой был этот гражданин. Название было реликтом давно прошедшей эпохи. Что касается самой улицы, то она представляла собой пустырь между двумя рядами наспех оштукатуренных бараков, в одном из которых мы жили. Дальше простирался неопределенный пейзаж, пространство, заваленное обломками кирпичей, заросшее бурьяном, все это буграми спускалось к оврагу, а за оврагом маячили еще какие-то постройки. Там тоже шла своя жизнь, трепыхалось белье на веревках, раскачивались на шестах скворешники, но была огромная разница между ними и заовражными жителями, ибо мы обладали тем, чего у них не было. Мы обладали московской пропиской. Мы были римские граждане, а они — нет. Человеку других эпох будет трудно понять, что значило иметь прописку, он подумает, что пропиской назывался штамп, удостоверяющий, что вы живете в таком-то доме. На самом деле и дом, и вы в нем существовали оттого, что была прописка. Подобно Слову — созидателю вещей, подобно имени, которое живет прежде своего носителя, подобно улыбке Чеширского кота, прописка была способна вести мистическое самостоятельное существование; вот почему обладать пропиской, живя в обмазанном глиной бараке, было бесконечно важней, чем обитать в хоромах, но без прописки.

В этом бараке он разыскал нас. Отворилась дверь, и он вошел, неся фанерный чемодан с ручкой, которая была сделана из обрывка ремня и прибита гвоздиками, другой рукой он придерживал лямку заплечного мешка. Он вошел и поставил вещи на пол. Был полдень, и стояла солнечная погода. В расстегнутой шинели, в выцветших серо-зеленых галифе и тупоносых кирзовых сапогах, он сидел на табуретке, так что полы шинели свисали до пола, и манил двумя пальцами малыша, но тот не хотел вылезать из своего угла между окном и диваном и смотрел на него не мигая; испуг и желание смеяться одновременно выражались на его лице. Затем тот, кто сидел на табуретке, повернул лицо ко мне, усмехаясь неживой улыбкой, и лицо это было как бы освещено только с одной стороны: одна половина улыбалась, а другая была мертва. Лоб был продавлен, а вместо глаза — темная складка с кустиком ресниц. В эту минуту с улицы донесся шум, и голос крикнул: "Машина!" Это была мусорная машина, приезжавший раз в неделю вонючий фургон для собирания отбросов. Тотчас захлопали все двери, кто-то бежал по коридору, и брякала дужка. Отец повернул к дверям свое продавленное лицо, дверь распахнулась, и мачеха в пальто, наброшенном на домашний халат, с голыми ногами, гремя пустым ведром, влетела в комнату и обхватила отца. Были последние ясные дни октября, на столе стояли тарелки с остатками еды, стояла бутылка, мой отец спал на диване, солнечный отпечаток окна лежал на полу, и Даня на корточках, перед раскрытым чемоданом, разглядывал диковинный немецкий трофей из фарфора: румяный кавалер в голубой треуголке обнимал сзади за талию стыдливую поселянку. Мачеха потом продала этого кавалера на Крестовском рынке за шесть кочанов капусты, и мы везли их через весь город на скрежещущих санках под летящим снегом, по скользкой мостовой.



## ГЛАВА 10

В апреле мы простились наконец с Розой Либкнехт, и несколько недель прошло в счастливой и изнурительной суете отогревания старого очага, с которым у всех, кроме моего

брата Дани, были связаны неувядаемые воспоминания. Вещи хранят верность в разлуке. И не горестные утраты, а счастливые узнавания ожидали нас, когда, разомкнув челюсти ржавого замка, мы вошли в нашу опустошенную комнату, не грязный и бедный двор предстал моему взору, когда я выбежал через черный ход на крыльцо, а милый двор детства, где все тотчас вспомнило и узнало меня: и пожарная лестница, и след футбольных ворот на кирпичном брандмауэре и остов снеготаялки, стоящий на том же месте, что и пять, и десять, и, может быть, сто лет назад. В комнате, где в наше отсутствие жил, по выражению мачехи, "цыганский табор", стояла железная печка, но кое-что уцелело, остались буфет и зеркальный шкаф; теперь к ним прибавилось то, что мы привезли из барака. Удивительным образом при общем продолжающемся упадке благосостояния количество вещей не уменьшалось, а росло.

Но она, эта комната, берегла и некую тайну. За косматой от пыли занавеской на антресолях лежали стопки и вороха нот, объеденные по углам целые оперы в старинных переплетах, темперированный клавир Баха, прелюдии и фуги Дитриха Букстехуде в переложении для фортепиано. Трухлявые романсы и революционные песни двадцатых годов... Красный Веддинг... Невозможно было придумать ничего более странного, безвозвратно ушедшего. Я созерцал эти руины, погрузившись в какой-то транс, отряхивая пыль и копоть, между тем как Даня, стоявший у подножья стремянки, задрав голову, топал ногой и требовал, чтобы я сбросил ему что-нибудь.

Наваждение было недолгим. Со страниц бессмертных творений веяло смертью, сыпался прах; сыпались высохшие слюдяные трупики, все было усеяно, словно сыпью, бурыми пятнышками. За хрупкой коростой обоев дремало жуткое полчище. Так дремлет, ожидая своего часа, рать Фридриха Барбароссы в пещере горы Кифгейзер. Клопы перестали быть домашним приключением; их присутствие приняло исторические масштабы и обрело исторический смысл. Годы великих переломов, индустриализация и коллективизация совпали с эпохой небывалого расцвета этих животных, триумф социализма был и их триумфом. Война застала их на этапе нового прилива сил, как если бы они были наделены таинственным даром предчувствия близкого катаклизма. До тех пор, пока существовали клопы, можно было с уверенностью предсказывать, что судьба, схватившая за шиворот страну, не отпустит ее. Исчезновение их, напротив, означало бы конец истории. Клопы обнаружили исключительную способность к экспансии, дело шло уже не о жалких антресолях. Они жили под всеми широтами, в батареях центрального отопления, в мебели, на потолке. Клопы ползали по проводу, на котором висел матерчатый абажур. Праздник Первого мая пришлось посвятить военным действиям — что было равносильно покушению на существующий порядок. В углу на керосинке булькала смесь гуталина, черного хозяйственного мыла и уксуса в кастрюле, которая в дальнейшем не употреблялась ни для какой другой цели.



"Даня, отойди прочь!" — вскричала мачеха. Крохотная, ставшая для него тесной кроватка малыша и старая никелированная кровать родителей были атакованы с молниеносностью, напоминавшей нападение японцев на Пирл-Харбор. На вражеские гнезда обрушились струи кипятка. Затем была двинута в ход кастрюля. Дымные сумерки сгустились в комнате, у стены сох матрац, мачеха, с прыгающей грудью, взмахами голых рук гнала воду к порогу, выжимала тряпку и, сдувая волосы со лба, озирала поле сражения. Отец угрюмо курил в коридоре. Антресоли были пусты, не ведаю, когда это произошло: там была расстелена газета, и на ней одиноко стоял фанерный чемодан. Все остальное исчезло, возможно, из соображений безопасности, ибо кроме нот там были и книги, грязно-серые политические сочинения баснословного времени, о котором не полагалось вспоминать. Однако у меня мелькнуло смутное подозрение, что соображения эти были предлогом для того, чтобы вынести прочь и спалить в кухонной плите какое-то иное прошлое. День закончился, и настала ночь. Ночью же у них были другие заботы.

Кровать скрежетала. Скрип прокрадывался в мой затуманенный мозг. Я лежал посреди комнаты на раскладушке,

имитируя дыхание спящего; зажмурившись, я пытался нырнуть в темный омут сна. Напрасно: меня тотчас выносило на поверхность. Что-то происходило, босые ноги неслышно опустились на пол, шаря ночные туфли. Я взглянул. Занавеска была отдернута, в полутьме на кровати смутно рисовались плечи и голова мачехи: она полулежала, приподнявшись на локте. Отца не было. Отец стоял у окна с пистолетом в руке и смотрел в белесую тьму. Дом был оцеплен. По двору крались темные фигуры. С трех сторон на крышах были установлены пулеметы. В переулке стояли крытые грузовики. А над головой раздавались шаги, это немцы ходили наверху в кованых сапогах, искали его. Мой отец повернул к двери свой единственный глаз, и туда же медленно повернулось его оружие. Его взгляд скользнул по моему лицу, он мог заметить, что я не сплю, но не обратил на меня никакого внимания. Шаги наверху затихли, это могло означать разное: что каратели ушли или что они затаились; может быть, они уже вошли в нашу квартиру и стоят за дверью. Озираясь, он ждал. Мачеха в длинной ночной рубашке сидела на корточках перед буфетом, наливала водку в граненый стаканчик и накапывала капли. Отец сидел на кровати, ему было холодно, он дрожал и стучал зубами. Она уговаривала его лечь, подробно доказывала, что они уехали. И в самом деле, с улицы донесся глухой удаляющийся рокот автомобиля. "Они во дворе, — сказал он, — куда ты дела пистолет?" Это был старый "ТТ" с просверленным стволом, он привез эту игрушку вместе с медалями и фарфоровым кавалером. Утром трещал будильник, и ночь казалась далекой и нереальной. Серая муть рассвета оседала в комнате, как в аквариуме. Отец спал, упершись в грудь подбородком, я видел его лоб с перламутровой вмятиной, и голая рука мачехи обнимала его за плечи. Некоторое время они лежали, по-видимому, не в силах очнуться. Внезапно мачеха вскакивала, придерживая на груди рубашку, тянулась за лифчиком, мучалась с пуговками на спине. Ее движения становились уверенней, вскинув голову, со шпильками в зубах, она скручивала узлом волосы, затягивала на ходу поясок халата, и в синих глазах ее горела неукротимая решимость жить, двигаться и будить жизнь в других, в хнычущем малыше, в отце, который сидел на краю кровати, протирая свой загадочный глаз, и долговязом пасынке, чьи ноги торчали из продавленной раскладушки, упираясь в детскую кроватку. Я вылезал. Я стеснялся своих длинных тощих ног. На кухне мачеха умывала Даню, пригнув его голову над раковиной, как над кормушкой. Бледные тени соседей тянулись по коридору. Журчала вода в уборной. Радио распевало за стеной. Она возвращалась в комнату, жестом жрицы неся чайник и сковороду. Мальчик, словно кукла, поворачивался в ее руках, застегивающих пуговицы, завязывающих тесемки. Отец с поникшей головой тыкал вилкой в тарелку; "пора, пора!" — лаял диктор. На двор с оловянных крыш низвергался потоп света, солнце сверкало в слюдяных глазницах чердаков. Радио пело и ликовало. Так мы жили.



## ГЛАВА 11

Никогда я не вел дневника, но он существует, и год за годом свидетельствует о том, чем я был; можно листать его, выхватывая здесь строчку, там абзац, но прочесть целиком невозможно, как невозможно обойти все улицы и переулки города. Чудовищный дневник моей жизни — вот что такое этот город под названием Москва, о котором я не могу сказать, хорош он или плох, безобразен или прекрасен: это письмена моей жизни, вот и все; это мысли, люди, мечты и надежды, превратившиеся в карнизы и подворотни; и плестись по улице — все равно что перечитывать густо исписанную и исчерканную страницу. И только я могу ее разобрать. Теперь многие страницы этого дневника вырваны, громады новых зданий подобны чистым вклеенным листам, на которых мне не о чем больше писать, остается ворошить то, что осталось. Москва, костлявый город-привидение, маячит перед глазами. Бесконечное лето тянулось, вобрав в себя и весну, и осень; календарь обманывал нас: то были не месяцы, а годы. Как стремительно уносилось назад время! И каким медленным

казалось существование. Целые годы пролетели между апрелем и ноябрем. Погибла адская Германия, но это было германское лето — по выспренной многозначительности его периодов, по медлительности переобремененного синтаксиса. Тогда, в этом нет теперь никакого сомнения, совершились главные события моей жизни. Однако должен был существовать некий центр времени, подобный ядру сферической вселенной, ибо точно так же устроена сферическая вселенная воспоминаний: чем ближе к центру, тем масштаб вещей крупнее; когда же был этот день?

Возле Кировских ворот, все знают, находится почтамт; последуйте за мной через мрачный каменный свод, мимо лесенки, ведущей в подземелье сортира, и мы попадем во двор, залитый лужами, забросанный лохмотьями оберточной бумаги, а там крыльцо, узкая лестница, коридор, и чем дальше вдоль дверей, мимо урн, плакатов, доски с приказами, мимо снующих женщин с бумагами, с жестяным чайником, чем дальше, тем сильней становился особенный запах этого учреждения — остро-безвкусный запах газетной бумаги, металлический привкус во рту и запах рук с лоснящимися черными пальцами. И чем ближе, тем отчетливей слышался рокот какого-то сложного производства. И, наконец, визжанье вращающихся вальков, шорох транспортера врывались в слух, мертвенное сияние газовых трубок изумляло глаз, и голоса женщин в громадном помещении звучали гулко и слитно, как на вокзале. Голос чревовещателя объявлял из репродуктора:

"Поступает Красная Звезда".

Поступала Работница, поступал Блокнот Агитатора, в ярком сумраке упаковщицы в синих халатиках, с лиловыми лицами, выстраивались вдоль конвейера, и навстречу им из дальних закоулков, качаясь и подпрыгивая, ехали кипы, перевязанные шпагатом. И девочки простирали к ним тонкие руки.

Скоро все свободное место возле конвейера и в клетушках загромоздили тюки, повсюду валялись обрывки оберток, руки работниц проворно раскидывали по ячейкам газеты, блокноты, журналы, складывали, заворачивали, швыряли на конвейер хрустящие пачки, бумажные и джутовые мешки. Из люка в потолке съезжали на широкий лоток мешки и пачки из второй экспедиции. "Девоньки, поживее, а ну, налетай!" — кричала Тамара, переступая крепкими ногами, словно молодая лошадь, среди сыплющихся пачек, и подняв к люку залитое лунным светом старое лицо. Все это надлежало рассортировать, записать в ведомости и спустить в нижний люк.



"Девоньки" — это были три бобылки старухи, проработавшие здесь всю войну, Павлик Цацулин и я. Все вместе мы составляли, под начальством Тамары, коллектив сортировки. Холмы мешков и пачек громоздились вокруг нас, плыли по конвейеру к грязному пологу из мешковины, прикрывавшему люк. Оттуда, словно из преисподней, тянуло сыростью, холодом Стикса. Оттуда гремел мат. Внизу находилась отправка. Там метался по платформе, бранясь и кашляя, инвалид на алюминиевой ноге, лил дождь, мешки летели и шлепались в темные недра фургонов, где их подхватывали грязные мускулистые руки, тяжелые автомобили, урча и сотрясаясь, выезжали один за другим из ворот, в брызгах луж, наперерез трамваям, катили вниз по улице Кирова, через Орликов переулок, мимо фабрики "Большевичка", а там, за площадью вокзалов, в дымах и туманах уже стояли, дожидаясь, составы. И длинные, лоснящиеся от дождя вагоны с облупившимися гербами везли нашу продукцию, бумажный груз в далекие области великой страны, над которой не заходило солнце, над которой плыли созвездия, над которой клубились тучи и Божье око, склоняясь, изредка роняло слезу.

Это был странный товар! Никто из тех, кто упаковывал, перевязывал, сортировал, записывал в ведомости эти кипы бумаги, не относился к ней иначе, чем к бумаге, как будто редакции и журналисты существовали только для того, чтобы сделать ее пригодной для сортировки и записывания в ведомости, и леса падали для того, чтобы было что развозить грузовикам и вагонам; однако истинный смысл газет был иным. Всем своим существованием газеты опровергали центральный тезис государственной философии о том, что бытие определя-

ет сознание. Ибо здесь сознание творило свое собственное, автономное бытие, не имевшее ничего общего с действительным.

И люди это знали. Люди, которые выстраивались по утрам в очередь перед киоском, не ожидали найти в газете чего-либо, что имело бы отношение к их действительной жизни. Это было бы так же странно, как ждать от оперного певца, что он споет частушки. Газета жила другой жизнью, которой никто никогда не видел и знал, что не увидит. Слова, которые она употребляла, имели другой смысл. Газета говорила: Народ. Но каждый понимал, что речь идет вовсе не о том народе, который бродит по улицам и толкается в очередях. Газета говорила: Страна, и всем было ясно, что это совсем не та убогая и разоренная земля, на которой все они жили. Она произносила — Победа и другие праздничные слова, но они означали не ту страшную, с выколотыми глазами победу, которая торговала зажигалками на Тишинском рынке и стучала деревянным обрубком по вагонам пригородных поездов, сиплым голосом пела песни и протягивала шапку. Газета говорила: Вождь! — и воображению являлся человек, который существовал в особом пространстве, в византийской вечности, наподобие золотого неба икон; представить его себе ходящим по земле было так же невозможно, как встретить в переулке Георгия Победоносца.

Отсюда вытекал особый статус действительности: действительность превратилась в постыдную тайну. Ибо не может быть двух миров, и люди это знали. Они знали, что их жизнь носит нелегальный характер. У каждого было чувство, что он со своим жалким бытом, со своими незаконными бедами и заботами — какой-то ненужный шлак, в то время как вся страна жила радостной героической жизнью. В конце концов они соглашались признать, что они выдумка вражеской пропаганды, что их попросту нет! Но они знали и кое-что другое: что как бы ни было плохо, может быть еще хуже. Это было законом их жизни. Предел достижимого благосостояния был близок, тогда как пределов возможного ухудшения никогда нельзя было предвидеть. Люди заключили соглашение с государством: они помалкивают, а оно разрешает им жить, как они живут, на птичьих правах.



## ГЛАВА 12

Павлик Цацулин ехал с фронта к родным на Урал, по каким-то причинам застрял в Москве и жил у дяди, капитана госбезопасности. Потом как-то само собой оказалось, что никакого дяди не существует, а ночует он на вокзале; женщины ходили к начальству, в конце концов Павлику разрешили ночевать в экспедиции, временно, пока не будет закончен ремонт в общежитии работников связи — который, правда, еще не начинался. Ночью Павлик лежал на пачках со вчерашней почтой или на столе в кабинете начальника экспедиции, а на рассвете отправлял печать на ранние утренние поезда.

Таким образом, его рабочий день длился до обеда, после чего он уходил "по делам", которых у него не было, или покуривал где-нибудь в холодке, разувшись и лежа перед своими сапогами, на которых были развешаны черно-бурые портянки. Павлик Цацулин ходил в рыжей кургузой шинели без хлястика, в гремучих кирзовых сапогах, на груди у него бренчали медали, он был худ, прыщав, голубоглаз, с рыжими ресницами и рыжим пухом на щеках. В полдень радио объявляло перерыв, мы стояли на галерее в большом здании почтамта, внизу под нами кишел людьми почтовый зал. Мне нужно было обедать, Павлику пора было идти по делам. Мы мешкали. Наконец, на другом конце показались две девушки из военной цензуры, высокая и низенькая; завидя нас, они пошли в ногу, глядя перед собой и подрагивая одинаковыми прическами, — так войска меняют шаг, проходя мимо трибун.

Павлик вытащил из ветхих штанов коробку "Казбека".

"Я с ней в ресторан ходил, — сказал он, имея в виду высокую, которая нам обоим нравилась. — Пиво пили. Закурить хочешь? Ну, я пошел".

В коробке оказался вместо папирос самосад. Павлик свернул огромную козью ножку, и подковки его сапог загремели по каменному полу. Из экспедиции вышла Тамара. Мы спустились по служебной лестнице и вышли на мокрую, шумную и толкучую улицу Кирова, в плеск луж, шорох галош и гуденье автомобилей. Тамара рассказывала:

"Соседка у меня больная, рак у нее или что".

Оказалось, что в воскресенье Тамара ездила на Тишинский купить что-нибудь для соседки. Там она видела Павлика Цацулина. Павлик торговал газетами и журналами. Он стоял с пачками в обеих руках и выкрикивал: "А вот кому Британский Союзник".

Тамара хотела ему сказать: что ж ты, паразит, делаешь? Ты нас всех под монастырь подводишь! Но не решилась.

"Лучше ты ему скажи. Может, у него совесть проснется".

Так шли мы в толпе прохожих, и машины с плеском и шелестом проносились мимо с обеих сторон — по мостовой и в темных стеклах витрин. Тамара была невысокая плотная женщина лет сорока. Ее шаги мелко постукивали рядом со мной. Нас толкали, мы расходились, пропуская встречного, и снова шли рядом. Впереди показался кособокий переулок, где мы должны были распрощаться. Она жила где-то поблизости, а я направлялся в столовую. В кармане у меня лежали два талона на "второе горячее", и я различал необъяснимым чутьем за два квартала доносившийся оттуда запах мучной подливки и пригорелого картофеля. Голос Тамары раздавался рядом:

"Я твово Пашеньку давно раскусила, и медали он себе купил, это я тебе точно говорю... Двадцать лет Красной Армии, эва куда! Там же и купил... Там все продается. Я сама видела. Хочешь, орден Ленина, что хочешь..."

И тут произошел, не могу понять каким образом, неожиданный и нелепый случай.

Из кривого переулка выскочил виллис — юркая коробочка, завизжал тормозами, затем откатился, вильнул в сторону, газанул и исчез в потоке машин на улице. Тамара осталась лежать на мостовой.

Я подскочил к ней.

Она открыла глаза.

"Ох, мамоньки, — сказала она. — Страсть-то какая. Никак жива?"

"Что же вы... как же вы..." — бормотал я.

"О-ох... И не спрашивай. Сама не знаю".



Вокруг нас стал собираться народ. Подошел старичок в картузе и белых усах.

"Вам надо сделать укол. Тут есть больница".

Вероятно, он имел в виду поликлинику на противоположной стороне, она находится там по сей день. Перед входом, на тумбе лев, похожий на ребенка, сидящего на горшке, обнимает лапой каменный щит с гербом, должно быть, давно и бесследно сгинувшего на чужбине рода.

"Ну да еще, — сказала Тамара, поднимаясь. — Еще мне уколов не хватает. Авось, до свадьбы заживет".

"Скажите ей, — сказал старик, — что ей не о свадьбе думать надо. Скажите, что у нее может начаться столбняк".

"Чего?" — спросила Тамара.

"Столбняк".

"Ох, — простонала она, Леня, милый. Голова-то как болит: как бы сотрясение мозгов не вышло".

"Вы не можете так идти. Я за вас не ручаюсь".

"Ладно, дедуля. Иди по своим делам".

"Тогда, — сказал старик, — придется вызвать Скорую помощь".

"Че-го? — спросила Тамара, нахмурясь. — Скорую помощь?.. Бог подаст! — рявкнула она. — Много вас помощников!.. А вы чего стоите, нечего на меня глазеть. Расходись! Леня, милый, — забормотала она, — пошли отсюдова. Пошли скорей".

"Видал? — шептала она, уцепившись за меня и сильно хромая. — Кто ехал-то? Небось, не заметил, а я сразу заметила. Голубые фуражки! Вот то-то. Ты, Леня, как эти фуражки увидишь, чеши от них подальше и не оглядывайся. И старичок этот... хрен знает кто. Может, подкупленный".

## ГЛАВА 13

Обнявшись, точно двое забулдыг, мы ввалились в полутемную коммунальную прихожую; узкий коридор вел в глубь квартиры, одна из дверей была приоткрыта, и от-

туда сочился дневной свет. Играло радио. Слабый голос крикнул:

"Кто там?"

"Свои, Кирилловна, не бойся... Тут парень меня проводил. Веришь ли, под машину попала. О-ох, мамоньки! Нет, видно, есть Бог на свете".

В конце коридора находилась кухня, лилась вода из крана, и шаркали шаги Тамары. Дверь ее каморки была напротив кухни. Я увидел никелированную спинку кровати, белое покрывало, внизу кровать была оторочена кружевным подзором. Белый, как бы зимний свет струился из окна сквозь накрахмаленные занавески, и в комнате стояла дремотная тишина. На стене стучали ходики.

В этой комнате была своя достопримечательность, которую я сразу же опишу, хотя она отнюдь не представляла, как говорят в таких случаях, художественной ценности; рыночное изделие, довольно распространенное. То был какой-то странный фокус живописца, почти кощунственный эффект зеленовато-зыбких тонов, — если только за ним не скрывался особый замысел. В темном стекле, за призрачным отражением моего собственного лица, как будто поднявшееся со дна, стояло лицо с каплями крови на лбу и закрытыми глазами.

Я пригляделся. Постепенно веки стали прозрачными, и за ними открылись водянистые глаза. Он смотрел и не смотрел.

"Что, красивый у меня образ?"

"Угу".

"Это бабки моей образ. Ей барыня подарила. Ладно, — сказала она, — поглядел и хватит. Он не любит, когда в глаза смотрят".

"Как это?" — спросил я.

"А вот так: не любит и все".

Я спросил: как же на него молятся?

"Почем я знаю. Вот так и молятся, на лоб смотрят. Али в губки".

"А вы?"

"Что я?"

"Вы молитесь?"



"Много будешь знать, скоро состаришься".

Она стояла с табуреткой, я мешал ей. В носках и домашнем халате Тамара казалась совсем маленькой. "Ну-ка, голубь..." — пробормотала она. Она поставила табуретку у окна, села и подобрала полу халата. На полной белой ноге алела широкая ссадина, но крови не было. Кожа была прохладной.

"Не так, — сказала она. — Конец бери в ту руку, а этой мотай. Не боись, какой же ты солдат... О-о! Полегче, голубь".

Обматывая бинтом ногу, я дошел почти до паха, закрытого халатом, она взяла у меня бинт, оторвала зубами и закрепила конец.

Спохватившись, я взглянул на часы. В тесной комнатке стоял белый сумрак. Может быть, за окном уже падал снег. В этой комнате с белеющим на стене отрывным календарем, с чистыми полуистлевшими половиками, с высокой белой кроватью что-то происходило со мной, я почувствовал необъяснимое оцепенение, словно цоканье ходиков было только видимостью бодрствования, мнимым движением времени.

"Они спешат. Как-нибудь отбрехаемся, скажешь, в больницу меня возил... Чайку со мной выпьешь?"

Я не помню, слышал ли я этот вопрос или мне показалось. Потому что это мог быть совсем другой вопрос.

Снег сыпал за занавеской,

"Голова, как чугун", — пробормотала она.

Разумеется, у нее болела голова, у нее могло быть сотрясение мозга, и она озябла оттого, что долго мыла ногу холодной водой. Разумеется, ей нужно было лечь. Она складывала покрывало, расправляла и встряхивала одеяло, раскладывала подушки, радио мурлыкало в квартире, — все это я слышал, не оборачиваясь; потом она подошла ко мне сзади и, обхватив меня, прижалась щекой к моим лопаткам.

"Худющий-то, господи... У тебя мать есть?"

"Есть", — сказал я.

"Счастье какое, — сказала она, — что война кончилась. У меня сын был такой, как ты. И тебя бы убили... Это уж точно... Еще немного, и поминай как звали... Тебе сколько лет, семнадцать?"

"Там чайник кипит".

"Леший с ним".

Потом она сказала:

"Ну поди сними".

Я пошел, снял чайник с керосинки, потушил огонь и вернулся.

"Куда поставить?"

"Да хоть куда, — сказала она, — вон на стол поставь".

Я поставил чайник на стол.

"Ты не боись, — шептала она, отколупывая толстыми пальцами пуговицы у меня на груди, — когда-нибудь да надо, так уж Бог велел... Так уж положено... А со старой даже лучше. Старая все поймет, всему научит. Со старой не стыдно... Голубь ты мой..."

Ходики неустанно стучали в моих ушах, пело радио, белел календарь, и снег сыпал за окнами, и шумел дождь, и странно, что я запомнил эту комнату лучше, чем то, что в ней произошло. Никакого чувства, никакого наслаждения я не испытал; она еще билась и стонала, когда со мною уже все было кончено; но сейчас кажется, что это тянулось невероятно долго.

Женщина от рождения знает то, что ей предстоит, это знание достается ей от прабабок, столько раз зачинавших мужчину в своем теле, что его плоть кажется им заблудившейся частью их собственной плоти; и, соединяясь с ней, они не обретают ничего нового. Поэтому девственность — это просто разлука, а долгая разлука как бы возвращает девственность.

Он же не ведает ничего; его память не простирается дальше его детства. Если женщина чувствует себя наследницей длинного ряда девственниц и матерей, то он — один на всем свете и принужден сам отвоевывать себе прошлое и будущее. Блуждая, как слепец, по чужой земле, он натыкается на женщину. И ему кажется, что он прозревает. Ему надобно оправдание, оправдание своей жизни, необходим смысл, — тот смысл, который не нужен женщине, потому что она сама его воплощает; у него своя теология, отличная от теологии женщины, которая видит себя заместительницей Бога на земле, между тем как ему предстоит всю жизнь сводить счеты с Богом. И



вот рождается надежда найти смысл своей жизни тут, на дне ее глаз, отражающих белизну неба, в разверстой воронке, в этой блистающей чаше тела, устроенного наподобие цветка. Это был долгий, изнурительный путь — словно битва с драконом, медленно отползавшим в ущелье. Длинная и извилистая тропа привела его в пещеру. Его дыхание прерывалось, зеленые круги плыли перед глазами, когда во тьме, в звоне падающих капель и мерцании светляков, полумертвый, он наконец достиг сокровища. Это был смысл, сердцевина смысла. Но лишь только он завладел им, или только подумал, что владеет, как вожделенный подарок исчез, почва дрогнула под ногами, и голос из недр, громовой шепот, прозвучал у него в ушах: "А теперь уходи". Так он понял, что был только средством.

## ГЛАВА 14

Я увидел следующий сон — улицу, тусклый ненастный день и череду автомобилей, ехавших не обгоняя друг друга, точно ехали не они, а мостовая; на тротуарах теснились люди, и было такое впечатление, что они тоже движутся вровень с машинами. Все блестело от измороси; мостовая и крыши автомашин серебрились, как рыбья чешуя, и лица шоферов белели, неразличимые, за стеклами; все текло, плыло и медленно уносилось между двумя рядами высоких домов в призрачный просвет, к площади Дзержинского, над которой клубились серые облака. В этом сне я отсутствовал: меня не было.

Меня не существовало, и тут мне пришло в голову, что таким и должен быть мир, такой должна была выглядеть улица, знакомая мне с детства, если бы я вообще не рождался на свет: запруженная машинами и прохожими, тесная, как ущелье, с вывесками учреждений, с темными, как омуты, стеклами магазинов, в которых колышутся зонты и ноги, — но мертвая и беззвучная, как в немом кино, как бы снятая "оттуда", в сумеречном свете моего небытия; я подумал, что это я, несуществующий, смотрю на эту улицу, но в эту минуту я

не был мыслящим и осознающим себя существом, но был самим этим чувством — неопределенным, не умеющим назвать себя ощущением жизни; я был никем.

Это продолжалось недолго: открыв глаза, я вспомнил, кто я такой, В комнате была по-прежнему белая тишина, и мерно щелкали ходики. Я продрог; времени оставалось немного, я должен был проводить ее до угла и там расстаться с ней. Я полагал, что бригадир нашей экспедиции мужчина уже потому, что слово "бригадир" мужского рода, однако Тамара была женщиной, и я подумал: как хорошо, что мачеха не видит нас вдвоем, это было бы для нее неприятным сюрпризом. Между тем она говорила, смеялась, губы ее шевелились, и я кивал ей в ответ. Я не мог отделаться от чувства, что меня нет на свете, и все это лишь призраки моего воображения. Наконец, я понял, о чем она говорила, речь шла о Павлике, о том, что он торгует газетами на Тишинском рынке, чтобы скопить деньги на билет. Он собирался бросить ее с ребенком; речь шла об измене и предательстве. Значит, подумал я, она и с Павликом тоже? И я представил себе, как она привела Павлика в эту комнату и как это у них получилось. Обдаваемые брызгами, мы приближались к переулку, и она торопилась досказать свою историю, потому что на углу ее должна была сбить машина; так и случилось, не успела Тамара договорить, как военный автомобиль, юркая коробочка с двумя ведущими осями, передней и задней, проехала над ней.

Я смотрел на нее с недоумением. Я почувствовал, что забыл, что было дальше, и пока я не вспомню, она не поднимется с мостовой. Вокруг начал накапливаться народ, к нам протискивался запыхавшийся старик с белыми усами, а я все еше стоял, напрягая память; по-прежнему шелестел поток машин, толкались зонты; мы находились в пространстве воспоминаний. Когда говорят, что воспоминание — это реванш, который мы даем всепоедающему времени, это надо понимать в особом смысле, это совсем не значит, что мы способны консервировать прошлое, хранить его в своем мозгу, как в рассоле, уберегая от гнилостных микробов времени. Память



не есть фиксация прошлого, Иначе жизнь превратилась бы в бессмыслицу, мы убедились бы, что время — единственное, что может сцепить весь этот хаос встреч, разговоров, минутных дел, плывущих друг за другом, словно обломки снесенных строений, и наше "я", обалделый зритель, едва успевает провожать глазами этот мутный поток; в таком случае память была бы просто дурной копией времени. На самом деле память — это победа над временем: быть может, намек на возможность жить в вечности, ибо что же такое вечная жизнь, как не жизнь, исполненная смысла и гармонии, но вне времени. Воспоминание не меняло лиц и событий, не приписывало людям того, на что они не были способны, но оно прозревало в событиях смысл и связь, более глубокую, чем связь времени; воспоминание демонстрировало свою высокую функцию оправдания жизни и устанавливало внутренний вектор движения событий, отличный от вектора жизни. Все было согласовано в эпизодах ушедшего прошлого; история преодолевалась, уступая место иной структуре. Вот почему канувшие в пропасть события оставили немолчное эхо в ушах и образы заурядных людей виделись окруженные как бы светящимся окоемом. Я подбежал к ней, она встала, и мы направились вглубь переулка. Случившееся сблизило нас — вот во что, собственно, вылился этот эпизод. Асфальт сменился булыжником, затем исчезла и булыжная мостовая, улица превратилась в хаос повалившихся заборов, поломанных палисадников; мы обходили лужи, пробирались под веревками с бельем; и чем дальше мы шли, тем она становилась грузней и неповоротливей и тяжело висла на моей руке. На крыльце сидел ребенок, глухонемой, примерно того же возраста, как мой брат Даня, может быть, это он и был, и строил из кубиков дворец. Мы вошли. Голос больной соседки спросил: "Кто там?" После этого я очутился в комнате у Тамары.

Это была та же комната, выцветший половик, ходики, то же лицо с венцом из колючек над тонкими бровями и зеленоватыми провалами глаз, лицо человека, которого никогда не было и который был, который смотрел сквозь опущенные

веки; мне не нужно было вспоминать, это была та же самая комната, я находился в ней наяву. Тамара зашевелилась рядом со мной, я снова закрыл глаза, снова открыл; ее состояние меня тревожило, я догадывался, что случившееся на улице было только поводом, чтобы проводить ее домой, ибо готовилось неотвратимое. Я опоздал в столовую, опаздывал на работу. Но теперь нечего было и думать о том, чтобы оставить ее. Стекло поблескивало на столе, белел календарь, часы лихорадочно отстукивали секунды, но я понимал, что это лишь видимость, холостой ход механизма и стрелок. Существовал ли я? Или только готовился жить, и меня еще не было? Неслышно отворилась дверь, на пороге стояла Тамара, в шерстяных носках, маленькая, как еврейская девушка, тот самый подросток с огромным животом, распиравшим ее, и маятник колыхался и гремел, как поезд, в котором нет ни одного пассажира. Я не мог произнести ни слова, мне было тяжело смотреть, как она мучается, кровь текла у нее по ноге; она мычала и гладила толстыми загрубелыми пальцами мою кожу, которая была одновременно и ее кожей. Может быть, это была волна желания, медленно поднимавшаяся из пучины нашего общего сна и накрывшая нас с головой, — пробудившись первой, она, возможно, пыталась расшевелить и меня, неподвидно лежащего на дне ее чрева. Она задвигалась и, вздымаясь, выгнулась почти дугой, хриплый стон вырвался из ее сжатых губ... я почувствовал, как она уперлась ступнями в кровать, и мощная сила повернула меня и стала выталкивать наружу. После нескольких толчков она шумно вздохнула, распласталась, и все было кончено. Я лежал, ошеломленный, между ее ног. Это были роды.

Полностью роман Бориса Хазанова будет опубликован в однотомнике писателя, который выходит в издательстве "Время и мы" в 1984 г.
В однотомник войдут:
"АНТИВРЕМЯ. МОСКОВСКИЙ РОМАН"
"ЧАС КОРОЛЯ" (повесть)
"Я ВОСКРЕСЕНИЕ И ЖИЗНЬ" (повесть)
*Цена книги - 15 долларов. 330 стр.*
Заказы и чеки высылайте по адресу: Time and We
475 Fifth ave, suite 511 -A New York, N.Y. 10017



**Несколько стихотворений Глеба Семенова (1918—1982), опубликованные в журнале "Время и мы", вызвали большой интерес читателей: мы получаем отзывы, в которых поэзия Глеба Семенова оценивается очень высоко, — в этих письмах содержатся просьбы новых публикаций. В связи с этим предлагаем нашим читателям еще несколько стихотворений. Одно из них — "Время" — было напечатано с изменениями в сборнике "Стихотворения" (Л., 1979); мы даем "Время" в неискаженном виде. Три маленьких стихотворения завершают цикл "Стихи без бога", появившийся в неполном составе в нашем журнале (№70).**

***Ефим Эткинд***

*Глеб СЕМЕНОВ*

# ПОД ЗНАКОМ НАРАСТАНЬЯ

## ВРЕМЯ

На противоположный берег ночи —
под парусом, наискосок,
Опять меня выносят ноги
на неизгаженный песок.
Туман еще висит на ивах,
еще в младенчески-наивных
голубоватостях земля.
Губами еле шевеля,
я полусплю еще...
И вдруг
Рывок! И все переродилось:
долина сузилась в один из
проспектов,
заросли вокруг
выкристаллизовались в зданья...
Бензин... и лязг... и тормоза...

И вот —
под знаком нарастанья —
давай мозолить мне глаза —
автобусы и перекрестки,
афиши, провода, киоски,
разлуки, очереди, встречи,
прически, лица, спины, плечи,
плащи, зонты, цветы, авоськи,
плач — тень — смех — свет...

От самого меня — и след
простыл: я где-то в самой гуще
густозамешанного дня.
Висящий, едущий, бегущий,
я часть его,
он часть меня!
Безумие пересечений
предметов — судеб — скоростей.
Полуденный ли, предвечерний,
ломясь от сплетен и страстей,
весь город сквозь меня несется:
мелькнет —
и где-то за спиной
по стеклам оползает солнце,
из луж расплеснутое мной,
и дребезжит трамвай,
и сердце
как жестяное дребезжит.
Держись — твержу себе — держись!
Держись, покамест не разверзся
бездонный вечер над тобой...

Сперва он только голубой,
потом синеет постепенно,
чернеет...
явственней прибой...
и звезды...
и слепая пена



слизывает отголоски дня...
И я опять смежаю очи:
на тот — рассветный берег ночи
пускаюсь, парус накреня.

## ИЗ ЦИКЛА "СТИХИ БЕЗ БОГА"

* * *

Пусть родина меня простит, —
как я простил ей страх и стыд,
простил неправды вкус во рту,
и нищий хлеб любить не ту,
и соль, святую соль сует,
и веру в то, что веры нет, —
всю злую меру смертных бед.

* * *

Иду на дно — и нету дна.
И остаются надо мною
Из всех растений — бузина,
из всех смятений — тишина...
и круговращение земное.

* * *

Земля да будет мне легка!
Поплачете и разойдетесь, —
уже не люди — облака...
Когда-то вы теперь вернетесь?
Вернитесь...
хоть через века.

*Алексей ЦВЕТКОВ*

# ПОПУСТУ ВРЕМЯ ВЕРСТАЕТ ШАГИ

* * *

куранты в зените ковали века
река соблюдала блокаду
ходил на гитарные курсы в дэка
потом подучился вокалу
с трибун присягали твердили в трубу
напрячься и времени больше не бу

досуги и дни пропадают в дыму
куранты лютуют далече
в хрустальном пейзаже проело дыру
жуков перелетное вече
раздолье зенита реки ширина
проснешься и времени больше не на

нас в кадре росы ненароком свело
биенье немецкой пружинки



из туч левенгук наставляет стекло
на тщетные наши ужимки
в теснине проспекта удобно видна
оставшихся дней небольшая длина

* * *

когда вечерами в семейном кругу
восстав на полвека из бездны
я свет зажигаю и трубку курю
мне мысли мои неизвестны

в ночной духоте протоплазме на страх
железные рыщут приборы
а я в своей майке и чистых носках
напрасен устройству природы

метнешься к аптечке хватить порошка
наотмашь зубилом и дрелью
жена и собака твоя подошла
сестра по линнееву древу

когда я бумагу пятнаю рукой
как землю осадки сезонов
из умственных недр возникает другой
неведомый житель Семенов

железо и смерть на парсек упредит
жена пожила и привыкла
так помнишь прилаживал речь фукидид
к налимьей гортани перикла

* * *

неповторимый быт коренных популяций
шелест в осоке кто-то крикнул выпью

и выпил это дед евгений из района
привез припоя и бидон солярки
крутить движок а то кино угомонилось
зато на замке амбразура сельпо
финита ля коммерция

в конторе моложавый рабочком володя
над письмом в газету правда жизни
пишет земля наша велика и обильна
а порядка в ней нет
володю не пронять культпросветгармонью
он ценитель мужской красоты
поборник уранизма

а в жилищах напролом разливают
работают колбы вюрца тикают бюретки
дед евгений кропотливо титрует
продукт освоен и отменно идет
под сельдь нарезную безоткатную
ломоть графита пирожки с вальсом
северный ледовитый огурец
густо посыпаешь нонпарелью
аппетит приходит во время икры
в желудке шумят витаминные рощи
певчими рыльцами крыс
утыкан мрак

* * *

в ложбине станция куда сносить мешки
всей осени макет дрожит в жару твердея
двоюродных кровей проклятия смешны
не дядя-де отнюдь тебе я



в тромбозном тамбуре пристройся и доспи
на совесть выстроили вечности предбанник
что ж дядю видимо резон убрать с доски
Пржевальский зубр ему племянник

ты царь живи один правительство ругай
ажурный дождь маршрут заштриховал окрестный
одна судьба Сургут другая смерть тургай
в Вермонте справим день воскресный

я знаю озеро лазурный глаз земли
нимроды на заре натягивают луки
но заполночь в траве прибрежные зверьки
снуют как небольшие люди

нет весь я не умру душа моя слегка
над трупом воспарит верни ее а ну-ка
из жил же и костей вермонтского зверька
совокупит себе наука

се дяде гордому вся спесь его не впрок
нас уберут равно левкоем и гвоздикой
и будем мы олень и вепрь и ныне дикий
медведь и друг степей сурок

* * *

так я игоря вижу подзорно
позитива прозябшие зерна
пруд придумаю в снулой плотве
обуздать не владею вполне

сон выносит его на подмостки
как пучина с кембрийским песком

остальные друзья и подростки
точки мрака собой в тенескоп
голенастое с томиком блока
больно резкость наводится плохо
в окуляре зрачков недолет
точно гибели год недалек

лишь один до затмения верен
шепот ивы ночному пловцу
где моторки кильватерный веер
у причала колышет плотву
в двух словах городская громада
на большом колокольном ветру
чтобы дружба нежна и хромала
с поэтической строчкой в рту
раз бульварный фланер анатолий
за портвейном на метр побратим
скудный умысел нам обратил
на такое родство анатомий
принесущее уйму вреда

только игоря мне никогда

* * *

водки в достатке и мойва вкусна
хрустких известий бумага
данченко данченко житель куста
дух дымаря и тумана
был ты за водкой искусный седок
звезд нарицатель подальше
вздрогнем по триста и входим в село к
вечеру трое поддавши

лошадь корова колхозник в дохе
старческой грыжи нажива



в чайной проезжий недавней вдове
взял курабье и алжира
попусту время верстает шаги
так меж тавдой и варшавой
скиф сусломордый расслабив штаны
скифку манил на шершавый

даже живя по канону наук
белого на три куверта
что же наш третий голуба наум
весь из тумана и ветра
мы ли его не сажали к столу
в зареве зимней латуни
разве уж вовсе на эту страну
нет угомона в натуре
день посветил и костьми отдаем
в хляби архивного моря
ангел с гармонью ночной водоем
звезд безмянная мойва

* * *

с получки промешкать беда
завоз полусладкого выпит
июньская местность бедна
как в сутки исхода египет
досуг слабоумен и глух
зазноб созвонить если есть где
соседский валерка в подъезде
садится и к....т вслух

наскучив любовью жены
ляшенко ночует на пляже
там в засуху лозы желты
и небо в неоновой пряже

в запое над звездной водой
под нежные визги гарема
порой глаукомы гомера
ему не хватает одной

за доступ в свой млечный чертог
и красного кубок отдельный
ляшенко взимает чехонь
с чинов подъяремных владений
наместник свиреп и смазлив
суэцкий песок по колени
и красное ордена Лени-
на море с чехонью в разлив

*Борис ПОЛЯКОВ*

# МОТИВЫ СИЕНЫ

Посвящается Е.Г.Б.

## СЧЕТ

Нет, как ни жаль, не будет продолженья:
Все кончится, что началось и есть,
И жизнь другую не придется сплесть —
Помимо той, что пущена в движенье.

Что жизнь идет к закату, на сниженье, —
Нежданной странницей приходит весть,
И наступает миг, когда не счесть
Всех неудач, приведших к пораженью.

Но хочется остаться на плаву,
И написать последнюю главу,
И сделать нужных несколько шагов,

И смысл увидеть в том, что все течет
И неизменен только странный счет:
Есть девять Муз и столько же Кругов.

## ОДЕРЖИМЫЙ

Лицо в тени. В монашеской одежде
Через собор он проходил спеша.
Она — навстречу, так же хороша
("Невыносимо хороша"), как прежде.

В бессмысленной неистовой надежде
Он грезил, замирая, не дыша,
Терзал в зубах конец карандаша,
Рыдал, подобно отроку-невежде,

И часто думал, сидя над листом
И руки на груди сложив крестом:
"Я Данту, я Петрарке кровный брат".

Но иногда, в минуты просветленья,
Он дни свои считал без сожаленья:
"Рассвет-закат-рассвет-закат-закат..."

## ПОСТОРОННИЙ

Не спрашивай. Нет ни на что ответа.
И потому не оставляй порога.
Нам не видать чертогов чудных Бога,
Как в латы, мы в сомнения одеты.

Ни силы в нас, ни стойкости атлета,
И образ наш — мимоза-недотрога.
Мы чтим покой и нам чужда дорога.
Нам родина — беспамятная Лета.



## СТРАННИК

Он с нами вышел. Не один из нас,
Кто в сердце полон страхов и сомнений,
Кто тащит груз веков и поколений,
Упал на лице, вспыхнул и угас.

Он сердцем пуст, он честен и безмысл,
И он дошел и преклонил колени.
Он понял вкус проклятий и молений,
Ему не в смысле — тайна, в тайне — смысл.

## ПОЭТ

1
Уйдя удачно от дневной погони,
Забудь, что ты бессилен и пуглив,
Найди на небе свой иероглиф,
Пусть это — Дева в солнечной короне,

Сидящая задумчиво на троне.
У ног ее застыли лев и гриф.
(Стань, как дитя, доверчив и игрив
И верь в свою звезду). На черном фоне

Лицо ее сверкает, как кристалл.
Забудь, что ты гоним и что устал.
От знанья, от любви, от наважденья
В лучах ее невидимых сгорай.
И — через все, — исполненный служенья,
Смотри, и слушай, и запоминай.

Раскрой глаза, приставь к ушам ладони,
Смотри, и слушай, и запоминай,
Как в тишине дрожит собачий лай,
Как нежно ржут взволнованные кони,

Как радостно трава растет на склоне,
Как облака вдруг обагрился край,
Как ровны клинья журавлиных стай,
Как слита с тенью тень в любовном стоне...

И каждое виденье, каждый звук
Не выпускай из цепких, чутких рук
И постарайся навсегда сберечь.

Когда ж рассвет опустится на крыши,
Все, что увидел ты и что услышал,
Вложи в свою рифмованную речь.

**ЧУМА**

Я вышел из дому. Стоял Водолей.
Февральское небо чернело под ним.
Тепло и покойно живется одним —
Другие, как я, на дорогах скорбей.

Чума в моем городе. Звоны церквей
С утра и до ночи повсюду слышны.
Богат урожай ее, тризны пышны,
Все больше на улицах мертвых людей.

Чума в моем горле. Все звуки мертвы.
В глазах моих боль от дымов и огней,
В душе моей пусто, и нечего с ней
Мне делать. А с вашей что сделали вы?

На улице длинной все тени страшней
И темных окошек слезятся огни.
Бесцельно и жалобно плачут они...
Как ветры в Тоскане тоскливой моей.

*Июль-сентябрь 1983*

**КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА „АРДИС"**

**Саша Соколов, „Школа для дураков". 1976.**
**Саша Соколов, „Полисандрия". 1983.**
**В. Аксенов, „Ожог". 1981.**
**В. Аксенов, „Бумажный пейзаж". 1983.**
**Ф. Искандер, „Сандро из Чегема". 1979.**
**Ф. Искандер, „Кролики и удавы". 1982.**
**А. Битов, „Пушкинский дом". 1978.**
**И. Бродский, „Часть речи". 1977.**
**И. Бродский, „Новые стансы к Августе". 1983.**
**А. Цветков, „Состояние сна". 1981.**
**В. Набоков, „Приглашение на казнь". 1976.**
**В.Набоков, „Бледныйогонь". 1983.**
**В. Набоков, „Дар". 1975.**
**М. Булгаков, „Собрание сочинений в 10-ти томах. 1982-**
**Том 1, Ранняя проза, 1982.**
**М. Булгаков, „Неизданный Булгаков", 1977.**
**И. Бабель, „Забытые произведения", 1979.**
**В. Ходасевич, „Собрание сочинений в 5-ти томах. 1983-**
**Том 1, Полное собрание стихотворений. 1983.**
**О. Мандельштам, „Проза". 1982.**
**А. Белый, „Почему я стал символистом". 1982.**
**„М. Цветаева — Фотобиография". 1980.**
**„М. Булгаков — Фотобиография". 1984.**
**С. Полякова, „Цветаева и Парнок". 1982.**
**А. Гладилин, „Большой беговой день". 1983.**
**В. Войнович, „Иванькиада". 1976.**
**В. Войнович, „Выбор". 1984.**
**„Метрополь —литературный альманах". 1979.**
**Л. Копелев, „Утоли моя печали". 1982.**
**Р. Орлова, „Воспоминания о непрошедшем времени". 1983.**

**Ardis, 2901 Heatherway, Ann Arbor, Mich. 48104**

*В связи с тем, что редакция получила еще одну главу чрезвычайно интересного исследования Льва Тимофеева, в этом журнале печатается его продолжение, а окончание будет опубликовано в 77-ом номере.*

*Лев ТИМОФЕЕВ*

# ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА ВЫЖИТЬ

*Размышления о советской действительности* *

## БОЯТЬСЯ ЛИ НАМ МУСУЛЬМАНСКОГО ВЛАДЫЧЕСТВА?

Каждый человек по-своему сопротивляется духовной смерти. Тем более по-своему сопротивляется каждая нация. Но я должен сразу сказать: исследовать, в чем именно заключаются особенности сопротивления каждой нации, мне не под силу.

И все-таки мне хотелось бы поразмышлять об одном непредугаданном, но теперь широко известном последствии советской национальной политики: речь идет о широкой миграции населения из национальных республик в русскоязычные районы. Миграция эта принимает такие размеры, что поговаривают уже об "обратной колонизации" России белыми нацменьшинствами. Не пошел ли маятник истории обратным махом: было — от Орды к Российской империи, теперь — от империи к Орде?

Миграция-то сама по себе еще не вся проблема. Дело в том,

* Работа Льва Тимофеева, написанная еще при жизни Ю.Андропова, не потеряла своей актуальности и при приходе к власти Черненко, поскольку она касается фундаментальных проблем советского общества как такового. Поэтому редакция не сочла возможным вносить в авторский текст какие-либо изменения.

*Продолжение. Начало см.№ 75.*



что темпы прироста населения у тюркоязычных народов сейчас значительно выше, чем у народов славянских. Уже сегодня неславянское население составляет большинство. Если же принять во внимание, что люди из Средней Азии и Закавказья оказывают своим соплеменникам всемерную поддержку и при устройстве на работу, и в продвижении по службе, и при получении более высокой квалификации, образуя таким образом целые национальные кланы, — то здесь, казалось бы, и можно говорить об "обратной колонизации" России...

Не размоет ли этот поток то, что до сих пор устояло под натиском коммунистической доктрины? Не сохраняя собственные национальные традиции, не поглотит ли "новая Орда" и те христианские нравственные устои, которыми мы-то держимся?

А как это скажется на составе правящих страной органов? Не надо ли связать беды сталинизма с тем, что Сталин — грузин, которому чужда и ненавистна была жизнь русских крестьян, составлявших в ту пору большинство населения? А теперь, когда русских меньшинство, не страшнее ли возвышение азербайджанца Алиева? Да и не один там такой Алиев.

И, наконец, не скажется ли эта демографическая ситуация на составе армии — и если да, то как скажется, с какими последствиями для обороноспособности и нравственного духа войск? Хорошо известно, что в качестве лагерной охраны и для подавления волнений власти наиболее охотно используют солдат-нацменов. И понятно: этим солдатам русские, славяне вообще, прибалтийцы — не свои, чужие. В карательном усердии всегда проявляется та неприязнь, которая за два столетия накопилась к русским колонизаторам — и к прежним, и к нынешним...

Столь широкие нравственные последствия миграционных процессов никак не исследуются социологами — да и материала нет для таких исследований, поскольку чрезвычайно слабо исследуется и сама миграция. Тут можно только строить гипотезы. И вот на уровне гипотезы, догадки я и выскажу одну мысль...

Может, все-таки не так трагичны последствия миграции?

Дело в том, что этот мощный, почти эпохальный демографический процесс как-то очень слабо заметен в нашей обыденной повседневной жизни. Иногда лишь фамилия заставляет вспомнить о национальности — а в поведении, в своих оценках все мы мало отличаемся друг от друга. В чем дело? Может быть, демографические процессы можно и нужно рассмотреть как-то еще и по-иному?

Как известно, в дореволюционной русской статистике не было группировки по национальному признаку в чистом виде. Население группировалось по признаку вероисповедания, и этот признак был более важен, чем национальная принадлежность: понятно, что именно вероисповедание, то есть следование той или иной религиозной и исторической культурной и нравственной традиции, в большей степени определяет общественный характер личности, чем "родство по крови"... А может быть, и сегодня рассматривать структуру населения страны по национальности и по вероисповеданию?

Могут возразить, что в наше время религиозное самосознание большинства настолько слабо, что люди попросту не задумываются о религиозной принадлежности или вовсе считают себя атеистами. Но ведь речь-то идет о вероисповедании как о системообразующем признаке того или иного типа культурной и нравственной традиции. Кто же сможет отрицать, что русская, грузинская или эстонская национальная культура — христианская по своим принципам?

А если так, то сами демографические процессы увидятся по-иному: мы увидим, скажем, что в общей структуре населения христиан — значительно больше половины.

Далее. Люди тюркских национальностей, попадая в славянские республики, редко сохраняют свои религиозные и культурные традиции. Но вообще без традиций жить нельзя. Даже считая себя атеистом, человек в своей обыденной жизни придерживается определенных культурных и нравственных норм, которые связаны с нормами той или иной религиозной морали, — никаких других норм не существует и существовать попросту не может... Но если так, то не следует ли нам вместе с проблемой "тюркизации" славянского населения



(к слову, и без того сильно "тюркизованного" шесть столетий назад) обсуждать и проблему христианизации мусульманских народов? И в то же время вряд ли сегодня можно всерьез говорить о возможности мусульманского культурного или религиозного влияния на русских, украинцев, латышей...

Я еще раз хочу оговориться, что у меня нет материала для конкретного анализа. Здесь только догадка... Но если мы согласимся, что, оседая в русскоязычных городах и поселках, узбеки и казахи, корейцы и буряты принимают христианские принципы общественного поведения, то само собой разумеется, что и характер их сопротивления коммунистической доктрине ничем не отличается от всего, о чем мы говорили, рассматривая опыт русского, христианского общества.

Человек может принять иную, чем у его предков, национальную культурную и нравственную традицию, но он не может остаться вообще без традиций, без общества, без истории. А коли так, то он всегда будет чувствовать себя в оппозиции к доктрине, которая стремится эту традицию подавить, стремится подавить созданную этой традицией личность.

Что же до разговоров о будущем русских как нации или о будущем славянских наций вообще, то будущее это и решается во взаимоотношениях общества и доктрины, личности и доктрины, исторической традиции и доктрины. Здесь все причины. А демографические процессы — лишь следствия. Это и без всяких догадок так же ясно, как и то, что сталинизм был формой коммунистической диктатуры, а не грузинским владычеством. Национальный флер здесь немного решает...

## МЫ ВСЕ В ПЛЕНУ У ПОСТОРОННЕЙ СИЛЫ

Здесь нам пришло время расстаться с одним широко распространенным заблуждением. Принято думать, что идеологическое давление на нас имеет наступательный характер,

"воспитательный", что правящий аппарат стремится всех до единого сделать заинтересованными, активными единомышленниками. Заблуждение это специально поддерживается: "Партия считает главным в идеологической работе на современном этапе — воспитание всех трудящихся в духе высокой идейности и преданности коммунизму..." — сказано в "Программе КПСС". Но все это пустяки. На современном-то как раз этапе государственная идеология имеет не наступательный, а консервативный, охранительный характер. О повальном "воспитании", об императивном внедрении коммунистических идей в душу всех и каждого сейчас вспоминают разве только самые твердолобые теоретики, да и тех сразу же одергивают прагматики-функционеры: что есть, в горсти бы удержать — а за большее не хватайся!

В начале 70-х годов из пропагандистского лексикона велено было убрать зажигательные призывы "уже завтра" вступить в коммунизм и было провозглашено, что нынешний, "развитой" социализм — надолго. Кавалерийская атака на духовный мир человека, продолжавшаяся пять десятилетий — провалилась! Здравые представления о жизни поколебать не удалось.

Что же теперь — переход от атаки к планомерной осаде? Может, кто-то там, наверху, так и думает, но мы-то знаем: обманывается!

То, что с маху не удалось нам в душу всадить, теперь с годами не вотрешь, — напротив, ежедневная жизнь общества постепенно всю ложь выталкивает наружу, делает ее очевидной... Нет, не атака, не осада, а, скорее, переход к обороне, и это едва ли не самый существенный факт нашей современной жизни. От кого обороняются? Да от нас же.

Мы — слепые, это так! Мы не знаем названий многим очевидным истинам — их стерла пропаганда, — это так! Во многих случаях нам приходится заново, каждому в одиночку искать путь к здравому смыслу — это так! Но мы находим этот путь и восстанавливаем истинные значения событий, явлений, истину самой жизни... А слова "теории", даже силой оттиснутые в сознании, остаются пустыми и мертвыми звучаниями — это не наше, чужое, постороннее.



И хотя пропагандистский туман все еще плотной полосой закрывает мир от нашего взгляда, он не может, одурманив, заставить жить ради коммунистической доктрины, как мечталось партийным идеологам в 20-30-х годах, — мы этот туман в душу не пускаем... Да они теперь и не лезут — в душу-то, отчаялись.

Пропаганда сегодня — лишь разделительная полоса, охранительная завеса, призванная локализовать общественное мнение, атомизировать его. Она отделяет дозволенное от запретного — словесная граница, за которую не разрешается заходить сознанию советского человека: знай себя, и будет с тебя!

Вы можете иметь любое мнение о советской реальности — это ваше интимное дело. Вы можете даже на кухне у друзей смело высказываться против существующих порядков... Но если вы трезво и сознательно сделаете публичное заявление — все! Вы перешли границу. Публично изъясняться о политике можно только теми словами, какие напечатаны в газетах или произносятся по телевидению...

Вы можете торговать на базаре, шабашничать, выполнять "левые" заказы, брать взятки или давать их, выписывать липовые наряды или получать по ним; производить машины, которые на другой день сломаются, или колбасу, которую люди вынуждены будут выбросить, как только принесут домой — и все это сойдет вам с рук... Но если вы публично заявите, что не желаете участвовать в собачьей комедии "плановой" экономики, — вы опять перешли границу. Вами займутся... Публичное заявление — это вызов, это объявление войны, это обращение к единомышленникам.

Публичное заявление — уже политическая оппозиция.

В сознании каждого из нас бытует как бы два мнения — наше собственное, здравое, порожденное опытом жизни и историческим опытом народа, а потому оппозиционное доктрине; и другое — вложенное пропагандой официальное мнение, доктрине соответствующее и даже доктрину защищающее. Первое — для соотнесения с совестью, чтобы себя в жизни не потерять; второе — для публичных высказываний, для

подтверждения своей лояльности, чтобы тебя, не дай Бог, в оппозиционности не заподозрили.

И такая двойственность нашего сознания сегодня, кажется, вполне устраивает доктрину. И мы живы — и доктрина в безопасности... Мы в плену: нас не хотят переделывать (не могут, не даемся, а то бы захотели), но и нам доктрина ничего не уступит, ни во что вмешаться не даст. И то по себе, и это собою...*

Люди правящего аппарата прекрасно понимают, что 99,99% — "за" на каждых выборах свидетельствуют не о единодушной поддержке — такого единодушия среди живых людей в принципе не бывает, даже и среди сотни истинных единомышленников всегда найдутся двое (2%) сомневающихся, — скорее, эти проценты говорят о мертвенном равнодушии миллионов к политическому ритуалу однопартийных "выборов". Но в том-то и весь фокус, что равнодушие устраивает наших руководителей — ничего иного им и не нужно!

Слова о том, что-де "заинтересованность в общем деле... сопоставление мнений... повышение общественно-политической активности — в этом суть советской демократии" — все это пустяки! Суть в обратном: никакая заинтересованная поддержка им не нужна. Заинтересованная поддержка миллионов обязывает: поддержку надо постоянно заслуживать, поддержки можно лишиться, а потому рассчитывать

*В прежние времена за анекдоты отпускали срок. Теперь иначе. Мою соседку, работающую техническим сотрудником в Союзе писателей, вызвал "для беседы" мелкий чин КГБ, курирующий эту писательскую организацию (а мы знаем: каждое советское учреждение, каждое предприятие имеет своего куратора в КГБ). Моя соседка, человек прямой, еще не выслушав, что от нее хотят, прямо и заявила, что люди, которые приходят к ней платить взносы (а собирать взносы — ее работа), никаких антисоветских разговоров с ней не ведут, анекдотов не рассказывают. Кагебешник поморщился: "Да вы между собой о чем хотите разговаривайте..." Их не это интересует. Сейчас их интересует только организационная оппозиция, только широковещательный протест. Пока мы все сами по себе, пока общество атомизировано — им не страшно.



на поддержку — дело опасное. Искать поддержки общества — значит, зависеть от общественного мнения.

Но если доктрина хотя бы в малом будет зависеть от свободно проявленного общественного мнения, от общественной самодеятельности, — ее ждет поражение. Сила общества и сила коммунистической доктрины настолько противоположно направлены, что, дай обществу хоть в малом проявить себя без запрета — не то, что при свободных выборах, а хотя бы в клубе самодеятельной песни, хотя бы в добровольном обществе борьбы с алкоголизмом, — как в эту щель мгновенно хлынет такая сила, что и государственные порядки зашатаются, если вообще устоят.

Сегодня разреши трем процентам проголосовать "против" — завтра так же "против" и тридцать процентов проголосуют; сегодня оставь без присмотра клуб молодежной песни — завтра из него оппозиционная партия вырастет (такие хлопоты уже доставил властям Московский клуб песни) Нет, нельзя! Никакой инициативы, никакой заинтересованности, никакой поддержки — не надо!

Наше мнение никого не интересует — ни "за", ни "против". Лучше, чтобы у нас вообще не было никакого мнения. Ни мнения, ни сомнения. Наше полное равнодушие — вот что больше всего устраивает сегодня наших правителей. Но поскольку мы не равнодушны и не можем быть равнодушны, когда дело идет о нашей судьбе, о судьбе страны и общества, то им надо, чтобы мы хотя бы молчали.

Чем глубже общество осознает свою оппозицию, тем опаснее доктрине выраженное мнение. Еще во времена вторжения в Чехословакию в 1968 году с нами играли, и на собраниях — под бдительным взглядом — из президиума запрашивали нашего одобрения: надо-де помочь братскому народу. "Надо, — отвечали мы вяло и потерянно. — Надо".

Но теперь, когда вторглись в Афганистан, нам ни слова. Теперь уже наше мнение запрашивать не решаются. Теперь боятся — открытых слез, явной ненависти, широкого протеста... Теперь им даже и не видимость поддержки нужна, а только наше молчание и наша покорность.

Мы живем, но мы живем в плену. Мы здорово осознаем нашу обыденную жизнь, но даже и обыденной-то жизнью так же здраво распорядиться не можем, не говоря уж о жизни общественно-политической или о международной политике, — даже и нашей-то обыденной жизнью распоряжается кто-то посторонний. И мы настолько к этому привыкли, что нас даже не очень интересует, кто же это нашей жизнью-то распоряжается, кто он — этот посторонний? Знаем только, чувствуем, что мы для этой силы — нечто вроде питательной среды. Знаем только, чувствуем, что это — посторонняя нам сила.

Оставим в покое людей: люди слабы — идеи всесильны. Люди для идей — лишь среда бытования. Тот посторонний, кто держит нас за глотку, кто присвоил себе чрезвычайное право распоряжаться жизнью и судьбой общества, кто создал и вооружил этим правом партаппарат, кто отнял у истории и присвоил себе самое понятие "государство", этот посторонний — ИДЕЯ, та же самая идея отрицания, которая всегда и во все времена давала силу и убийце и революционеру.

Все, конечно, знают, что у этой идеи есть и частное имя: "теория научного коммунизма".

Тот факт, что вы можете на кухне у друзей рассказать анекдот про Андропова, и вам сойдет с рук; тот факт, что секретарь райкома ни слову не верит из того, что он сам же произносит перед людьми; тот факт, что поутихли призывы построить коммунизм уже при жизни нынешнего поколения — все эти и многие подобные факты расцениваются иногда как поражение ИДЕИ. И поговаривают уже, и поговаривают всерьез, о некоей деидеологизации советской системы.

Говорят уже, и говорят уверенно, что лишь развращенность партаппарата властью мешает здравым переменам в нашей жизни. Считают уже, считают убежденно, что все слова из идеологического лексикона — "развитой социализм", "коммунистическое будущее" и т.д. — стали теперь чем-то вроде пустой оболочки, которая пока, до поры до времени, покрывает разваливающиеся принципы, — но дунет ветер истории, покров слетит, и все увидят, что никакого социализма нет как нет, а есть лишь развратный и слабый Рим времен позднего упадка.



Да, люди слабы, но идеи-то всесильны... Деидеологизация — пустое понятие. Пока отрицается общественное мнение и общественная воля, пока жив сам принцип отрицания — до тех пор социализм есть социализм — "первая стадия коммунизма"... А принцип — нет, не ветшает.

Но многим со стороны видится иначе.

У остроумного, но местами нечеткого по мысли французского советолога А.Безансона читаем: "До прихода к власти партия большевиков скреплялась идеями. Соответственно, захватив власть, она установила господство идеократии. Но по мере отхода "действительной" реальности от реальности выдуманной, идеи лишались своего содержания и от них оставалась лишь словесная оболочка. Эволюция режима шла к логократии.

Логократия обеспечивает еще более полную и незамутненную связность и последовательность системы, чем идеократия. Ей не нужна вера. Она составляет некое единство поступков, поведения, отношений. Поколебать ее не может ничто: ни снаружи, ибо мешает полиция, — ни изнутри, ибо индивидуальный внутренний мир просто отключен от системы. Все по-своему уходят в себя, в свою личную жизнь, и только руководители вынуждены говорить с семьей на языке партийных собраний.

Пустота, на которой стоит идеология, — залог спокойствия, это так, но она же и причина ненадежности всей структуры. Пока еще идеология сохраняет свою непрерывную и гладкую поверхность, но каждую прореху становится все труднее чинить... Ткань еще держится, за ней еще тщательно ухаживают, но она уже сильно протерлась, обтрепалась, истончилась",*

---

*Безансон А. Краткий трактат по советологии. "Вестник РХД", №118, с.189-190.

Здесь каждая мысль скорее весело легка, чем верна. Мы знаем, что Брежнев прекрасно умел говорить со своей семьей на языке черного рынка бриллиантов... Но главное-то, что никогда, ни в какое время коммунистическая ИДЕЯ не лишалась своего основного содержания, которое заключается не в демагогических посулах благоденствия в "реальности выдуманной", а в принципе отрицания действительной реальности (и прежде всего — общества, нас всех) как значимого фактора политики. И принцип этот ничуть не протерся, не обтрепался, не истончился с октября 1917 года. И сегодня еще достаточно верующих в него или, по крайней мере, доверяющих ему — доверяющих насилию, сознательно служащих насилию.

Мы говорим, что опора власти — циники. Но в сегодняшнем значении циник — это не тот, кто ни во что не верит. Циник верит в насилие, хотя и знает, что насилие — зло. Циник сознательно доверяется злу.

Многое изменилось и продолжает меняться у нас в стране десятилетие за десятилетием. Но незыблемо остается одно — возможность насилия над общественным мнением или даже отрицание общественного мнения.

Да, вы сегодня свободно можете высказаться на кухне у друзей... но завтра люди Андропова проведут два-три показательных процесса и "отпустят срока" за подобные беседы, и вы замолчите не только что на чужой кухне, но и в собственной постели. И не надо никаких новых законов вводить — хватит и тех, что есть, — их никто не отменял с тридцать седьмого года. Главное, что отрицается ваше право иметь мнение... Социализм есть социализм.

Да, у нас в ушах тишина: уже несколько лет никто не требует экстренно вступить в "коммунистическое будущее"... Но ведь это же так просто! Сегодня молчат, а завтра построят нас в ряды, ударят в барабаны — и айда в коммунизм или на трудовой фронт, или просто на фронт — это уж куда скажут. И опять-таки не надо никаких новых законов — хватит и тех, что есть. Главное, что ваша воля — отрицается... Социализм есть социализм.



Чем же мерить деидеологизацию? Цинизмом партаппарата? А когда было иначе? Их бескорыстная преданность — это из романов соцреализма. А на самом-то деле от первых дней советской власти они всегда и ели, и пили, и жили лучше других, — тем только да еще соблазном власти привлекая новые кадры.

Не надо преувеличивать силу партаппарата. Они лишь нанятые слуги постороннего.

Посадите завтра весь партаппарат в лагерь, а лагерников сделайте партаппаратчиками (если согласятся; а многие — согласятся и соглашались уже!) — и ничего не изменится. Замените завтра коллегию политбюро новым Сталиным или, напротив, расширьте коллегиальность — и тоже ничего не изменится. Социализм не зависит от количества верховных правителей. (Да мы и не знаем никогда, сколько их там и кто именно реально правит, а сколько иных — для видимости)...

Нет, нас не живые люди в плену держат — с живыми мы давно договорились бы, живая кость мясом обрастает... Но мы в плену у мертвой силы, у мертвой ИДЕИ. Законы социализма как "первой стадии коммунизма" даны в теории, а "теория коммунизма" к жизни никакого отношения не имеет и жизнью не корректируется. Вместе с тем известно: теория должна быть непротиворечива, иначе она теряет свою силу. Она, как глухая стена вокруг зоны, — если в ней хоть калитка не охраняется, она и вся не нужна... Какая уж тут деидеологизация!

Нет, та мертвая сила, которая на нас сверху давит, меньше не стала. ИДЕЯ, принцип — и не могут быть больше или меньше. ИДЕЯ осталась все та же, что была и в 1917, и в двадцатые, и в тридцатые, и во все последующие годы — это отрицание нашего права распоряжаться собственной судьбой, отрицание здравого смысла.

ИДЕЯ не изменилась — изменились мы. Мы-то ее давление иначе воспринимаем. Мы все яснее понимаем ее как чуждую, постороннюю силу. Мы все более сознательно сопротив-

ляемся насилию.*

Похоже, что к моменту смерти Брежнева генеральное наступление коммунистической идеологии на личность человека было остановлено. Здравый смысл общества преодолеть не удалось. С ним пришлось мириться. Наступил как бы момент стагнации... Надолго ли?

Момент стагнации вовсе не обозначает прекращения процесса или изменение его содержания. О победе здравого смысла говорить пока не приходится. Стагнация советской системы значит только, что яростное давление доктрины теперь не дает прежнего эффекта, а противодействие здравого смысла обрело зрелые формы, проявило себя как решающий

---

*Среди теоретиков-коммунистов идут оживленные дебаты о том, можно ли называть "научным коммунизмом" те принципы, которые заложены в основу правящей у нас доктрины. Сторонники "социализма с человеческим лицом", "еврокоммунизма" и прочих школ и направлений, не согласных с советскими аппаратчиками в трактовке основополагающих работ, ссылаются на то, что у Маркса идея постоянно развивалась, и "Капитал" уже дает о ней иное представление, чем ранние работы... Все это пустяки. Именно Маркс написал "Манифест коммунистической партии", именно Маркс провозгласил чрезвычайное право одной лишь части общества (класса) на волевое или, чтобы быть точным, "деспотическое" вмешательство в естественный исторический процесс, — провозгласил и нигде и никогда не отрекся от этой изначально кровавой идеи.

"Коммунисты, следовательно, на практике являются самой решительной, всегда побуждающей к движению вперед частью рабочих партий всех стран, а в теоретическом отношении у них перед остальной массой пролетариата преимущество в понимании условий, хода и общих результатов пролетарского движения". ("Манифест коммунистической партии", раздел 11). Но разве не эта идея положена в основу правящей у нас доктрины? Разве не этим "преимуществом" партаппарат объясняет свою политику? А если так, то или это — коммунистическая ИДЕЯ... или "Манифест коммунистической партии" — не коммунистический документ.

Думается, что те, кто желает отмежеваться от советской доктрины, должны бы начать с того, чтобы отмежеваться от политического понятия коммунизм. Так было бы честнее, чем отмывать это понятие от постоянно выступающей на нем крови...



фактор истории. Более того, стало ясно, что противодействие здравого смысла и есть содержание исторического процесса в России в последние шестьдесят пять лет. А раз так, то судьба страны, судьба народа зависит от соотношения противоборствующих сил или, попросту говоря, от того, чья сила возьмет верх.

Чья сила проявит себя как субъект исторического процесса в России? Весы истории качнутся — куда? Куда они вообще могут качнуться? Какая тенденция победит: стремление к военизации или дальнейшее развитие свободных общественных (в широком смысле слова) отношений? Давление доктрины или противодействие здравого смысла? Идея отрицания или идея жизни? Общество или посторонний?*

## КАКИХ ПЕРЕМЕН НАМ ОЖИДАТЬ?

Вся история коммунистического государства есть история борьбы идеологической доктрины против здравого смысла народа, против его исторического опыта. И пока общество живо, прямое подавление здравого смысла и будет основной заботой правящего аппарата, а все остальные заботы — побочные (в том числе и уровень жизни, и состояние морали, и развитие культуры).**

---

*Сегодня, кажется, большинство специалистов склонны рассматривать историю именно как процесс. Причем процесс, так или иначе обусловленный волей. Чья воля и как проявляется в историческом процессе — это, по сути, и составляет предмет всех теоретических споров (воля личности, воля народа, воля партии как народного авангарда и т.д.). А коли так, то многое прояснится, если для удобства анализа мы воспользуемся понятиями субъект и объект исторического процесса — хотя бы для того, чтобы в нашем сознании разделить волевой источник действия и предмет, формируемый действием.

**В предыдущей главе я утверждал, что люди партаппарата — лишь часть общества, порабощенного чуждой ИДЕЕЙ. Это справедливо, пока мы говорим о борьбе идей, о борьбе "теории научного коммуниз-

Запреты и ограничения сдерживают сильнейшее контрдавление здравого смысла — настолько сильное, что если хотя бы щель появится в этой стене, то уж не соединишь — пойдет стена ломаться и крошиться до тех пор, пока и вовсе не размоет ее народная сила.

Вот главная забота партаппарата: сохранить целостность стены, а для этого раздробить, атомизировать общественное мнение, не допустить, чтобы раздробленное стихийное сопротивление общества собралось бы в одном месте, ударило бы в одном направлении. Боятся — и не без оснований! — что стена не выдержит.

Западные наблюдатели любили называть Брежнева консервативным политиком — он, может быть, и не хотел бы им быть, да куда деваться, если любое послабление запретов в любой сфере жизни (мы уже вспоминали клуб любителей песен под гитару) грозит возникновением оппозиции. А сами положительные принципы власти так слабы, так неубедительны, что любая, даже самая слабая оппозиция может иметь для власти роковые последствия. Что тут делать?

Главные политические усилия коммунистического аппарата направлены на то, чтобы лишить общественные силы какого бы то ни было единства, не допустить не только организации, но хотя бы даже осознания возможности единого фронта сопротивления... Современная политика партаппарата — политика охранительная.

В этом смысле и политику Андропова нетрудно предсказать: и его главные политические усилия будут направлены на то, чтобы и впредь лишить общественные силы какой бы то ни было возможности единства, и впредь не допускать

---

ма" со здравым смыслом общества. Но здесь, когда речь заходит о конкретной политике и когда нас интересует политическая структура общества, мы вправе и даже обязаны противопоставить партаппарат всему обществу в целом. Партаппарат — политическое орудие ИДЕИ. В политической жизни партаппарат выполняет роль персонификации ИДЕИ и в этом качестве противостоит обществу, здравому смыслу (а в конце концов и собственной человеческой сущности).



создания какого бы то ни было единого фронта сопротивления в какой бы то ни было сфере общественной жизни — и прежде всего в экономике, где контрдавление общества особенно сильно.

Такая жестокая заданность политики, понятно, сильно ограничивает возможности властей.

Ну вот, кажется, почему бы не ослабить экономические запреты? Ведь если приусадебные (рыночные) хозяйства, где обрабатывается не более пяти сотых всех посевных площадей, кормят едва ли не половину всего населения страны, то дай им хотя бы 30 процентов земли — и все будут сыты... Да, но зачем тогда нужны будут колхозы и совхозы, обрабатывающие остальные 70 процентов, — а вместе с ними зачем нужен и партаппарат, ими руководящий?

Нет, нельзя! Разреши всего только легальные рыночные отношения, и образуется фронт экономической оппозиции — широкая брешь в плотине, — а напор общества такой, что и саму плотину размоет и унесет.

Начиная свою деятельность в качестве руководителя страны, Андропов в первой же своей речи заявил: "В общем, товарищи, в народном хозяйстве много назревших задач. У меня, разумеется, нет готовых рецептов их решения"...

Столь скромное и сдержанное вступление восхитило многих наблюдателей и заставило говорить о прагматической трезвости нового руководителя. Размечтались! Нет, дорогие друзья, у Андропова есть готовые и вполне определенные рецепты решения всех возникающих проблем — и рецепты эти четко и недвусмысленно изложены в той же речи. Посмотрим внимательно.

Вот готовый и хорошо проверенный рецепт против хозяйственной самостоятельности, цитирую:

"В последнее время немало говорят о том, что надо расширить самостоятельность объединений и предприятий, колхозов и совхозов. Думается, что настала пора для того, чтобы практически подойти к решению этого вопроса. На этот счет даны поручения Совмину и Госплану. Действовать тут надо осмотрительно, провести, если нужно, эксперимент, взвесить,

учесть и опыт братских стран. Расширение самостоятельности должно во всех случаях сочетаться с ростом ответственности, заботой об общенародных интересах".

Вот как: осмотрительно... эксперименты... "общенародные интересы". Словно сегодня только впервые произнесено вслух: самостоятельность! Словно не осматриваются и не экспериментируют уже двадцать лет — со времени XXII съезда партии, со времени разговоров об экономической реформе. Осматриваются и экспериментируют — и ни с места — почему? Да потому, что страшно! Да потому, что всякая самостоятельность — хоть предприятия, хоть колхоза, хоть человека — есть свобода от всепроникающего давления правящей доктрины. Да потому, что всякая экономическая самостоятельность есть угроза создания экономической оппозиции. Да потому, что не общенародные интересы заботят партийных руководителей, — а то бы давно свободное рыночное хозяйство, здравая хозяйственная хватка народа решили бы все экономические проблемы страны, — а заботят их одни только интересы сохранения безраздельной власти — и только эти интересы!

Опыт истории показывает: дай обществу хотя бы частичную самостоятельность, и здравым смыслом под угрозу ставится всеобщая власть партруководства, а с ней и всеобщая власть теоретической ИДЕИ: в обществе немедленно оформляется фронт оппозиции, фронт здравого смысла. Этот опыт хорошо усвоен партийными идеологами и функционерами. Такой фронт экономической оппозиции был результатом нэпа в двадцатых годах.

Именно усилившаяся оппозиция народа потребовала от властей решительных действий: административного зажима частного сектора в промышленности и насильной коллективизации в деревне. И то и другое резко снизило уровень жизни в стране, но значительно укрепило политическую власть партийных чиновников, укрепило позиции коммунистической доктрины в ее борьбе с обществом.

Партийное руководство учится у истории: больше уже никогда власти не рисковали отменить или хотя бы ослабить систему экономических ограничений до уровня нэпа. Идеологи запомнили: любая самостоятельность создает оппозицию.



Спустя тридцать лет хрущевская "оттепель" еще раз подтвердила этот принцип, в другой, правда, сфере: политический и экономический кризис требовал от руководства хотя бы частично разрешить общественное осуждение методов политического террора времен Сталина... и сразу же в обществе духовно оформился фронт оппозиции всему режиму в целом. Он не был оформлен организационно, но возник стихийно и существует по сей день как тенденция наглядно выразить общественное мнение, противопоставить его коммунистической идеологии. С этим фронтом не удалось справиться Брежневу, хотя в последние годы все организованные или хотя бы персонифицированные формы оппозиции старательно подавлялись. Этот фронт продолжает жить и по сей день, он являет собой как бы новый этап того широкого и никогда не прекращавшегося общественного противодействия, которое и составляет содержание исторического процесса у нас в стране в последние шестьдесят пять лет.

Именно с этой тенденцией — и в первую очередь с ней! — и предстоит считаться администрации Андропова при разработке своей политики.

С этой тенденцией они и считаются, никогда ее из внимания не упускают. Самостоятельность будут "взвешивать и осматривать" и в конце концов никакой самостоятельности не разрешат, а вот новое закручивание дисциплинарных гаек, новые дисциплинарные запреты — это сразу, это без экспериментов, это рецепт проверенный:

"Следует решительнее повести борьбу против любых нарушений партийной, государственной и трудовой дисциплины. Уверен, что в этом мы встретим полную поддержку партийных и профсоюзных организаций, поддержку всех советских людей. (Аплодисменты) ".

Смешно сказать: собственную самостоятельность советские люди не поддержат, — тут нужны эксперименты, — а зажим дисциплинарных гаек — это поймут и радостно поддержат. Но ведь административные меры не помогают решить экономические проблемы.

А что поможет? Правильно ли, что после смерти Брежнева первое, что делают, — в политбюро вводят Алиева, кагебешника с двадцатипятилетним стажем, и назначают его первым заместителем председателя совета министров. Он поможет решить проблемы? Какие и как?

А вдруг и поможет? Не будем скидывать Алиева со счетов.

Администрация Андропова-Алиева стоит перед необходимостью выбора: или окончательно подавить сопротивление общества, или найти пути к сотрудничеству с обществом.

Подавить? Но как? Уничтожить физически? Иначе не подавишь.

Сотрудничать? Но где? В экономике? Нет, в экономике интересы партаппарата и общества прямо противоположны и непримиримы: обществу нужна экономика, удовлетворяющая его материальные потребности, а партаппарату нужна экономическая система, обеспечивающая его политическую власть.

Сотрудничать в политике? Уж тут-то и вовсе, какое же может быть сотрудничество между насильником и его жертвой?

Но, может быть, возможно и сотрудничать, и подавлять?

Может быть, возможно пойти на частный компромисс, поделить "зоны интересов"? Ведь сытая лошадь лучше несет ездока. Может быть, несколько отпустить запреты в экономической сфере — и при этом максимально "закрутить гайки" в сфере политической?

Возможно, что возвышение Алиева с его опытом работы в КГБ и аналогичный опыт самого генсека предполагают все-таки создание в экономике определенной "зоны свободы", но при одновременном резком усилении идеологического, политического и прямого репрессивного давления на общество, на личность. Освободить рынок, допустить возникновение экономической оппозиции, но парализовать страхом ее политическое влияние. Начать кампанию широкого террора, скажем, вплоть до публичных устрашающих казней. Провести некую фашизацию социализма.*

---

*Возможность более широких рыночных отношений в социалистическом государстве при наличии мощной политической или военной контрсилы подтверждается "венгерской моделью". Сумели же там найти, казалось бы, оптимальное соотношение между планом и рынком и живут небедно... Венгрия вообще может хоть и вовсе отказаться от плана и вести нормальное рыночное хозяйство, а, если оно станет угрожать власти, на это есть сила советских танков.

Угроза советских танков парализует политическое влияние экономической оппозиции в Венгрии. Более того, до известной степени можно даже и политическую оппозицию допустить в "братских странах". Не страшно. Лишь бы вовремя остановить процесс: Польша может два года с "Солидарностью" баловаться, — а станут профсоюзы угрожать власти (или покажется, что угрожают), и на это силы советских танков хватит; да еще и до танков не дошло, слава Богу!..

Но по нашим, российским, масштабам нынешних сил правящего аппарата недостаточно, чтобы безопасно разрешить у нас экономическую оппозицию. Если у нас в России сегодня разрешить неконтролируемый рыночный сектор, то разве его потом танками задавишь? И танки-то продадут и купят. Нет, тут нужны какие-то дополнительные ужесточения. Какие? Новый размах ГУЛага? "Культурная революция"? И тогда — еще один нэп?



Такая политическая модель — в том или ином воплощении — могла бы спасти экономику страны. Она тем более возможна, что и общество устало от экономического дефицита, и всякий компромисс в этом направлении был бы понят и принят... Но для реализации такой модели многого не хватает. И прежде всего нет идеи, которая хоть на время примирила бы общество с политическим тоталитаризмом, оправдала бы новый всплеск террора.

Новому повороту политики нужен лозунг. А лозунга-то и нет. Русские шовинистические идеи, прозвучи они в устах азербайджанца Алиева, будут не очень убедительны. Да и вообще многонациональная структура советского общества сильно затрудняет возгонку национальных страстей до уровня политики.

Где же искать лозунг — да еще и такой, чтобы он, понятно, не выходил из круга коммунистической идеологии? Без лозунга идеология — мертвый ритуал. Традиционные же лозунги, типа "Вперед, к победе коммунизма!" сегодня не работают — это лозунги наступательные, радикальные — они и хороши для наступательного применения идеологии, для поли-

тики подавления здравого смысла народа, но совершенно бессмысленны в ситуации застоя: ведь они подразумевают некое движение, а мы — куда движемся?

Здесь нужен охранительный лозунг. Здесь нужна новая, охранительная доктрина, которая позволила бы правящему аппарату, не рискуя властью, ослабить контроль над одними сферами жизни (скажем, контроль над экономикой), ужесточая его в других сферах (в политике, идеологии, культурной жизни). И надо сказать, что такой лозунг, такая доктрина давно уже исподволь подготавливаются... Но на чем они основаны? Что в принципе может хотя бы на время примирить насильника и жертву? Только одно: общая для обоих опасность извне, со стороны — лозунг "Родина в опасности!"

Здесь наши внутренние проблемы неизбежно смыкаются со внешней политикой. И это естественно: именно за счет внешней политики правящий аппарат получает возможность развязать руки в делах внутриполитических.

Присмотримся к внешнеполитическим принципам социалистического государства — не к тем пропагандистским заявлениям о миролюбии, которыми заполнены страницы советских газет, а к реальной подоплеке международных событий последних десятилетий.

Во внешней политике партаппарат руководствуется все тем же фундаментальным принципом, все той же ИДЕЕЙ отрицания, согласно которой в любой стране меньшинство населения, "авангард", вооруженный "передовой теорией" (и чехословацкими автоматами) имеет чрезвычайное право диктовать свою политическую волю всему обществу в целом.

Интернациональный долг повелевает советским руководителям повсеместно поддерживать стремление коммунистов к захвату власти. Отсюда следуют и внешнеполитические цели нашего государства.

Во-первых, утверждать коммунистические режимы в других странах путем поддержки национальных групп, стремящихся к захвату власти (в последние годы — в Анголе, Эфиопии, Никарагуа, Афганистане).

Во-вторых, защищать эти режимы от их собственных народов (в Анголе и Эфиопии эту миссию выполняли кубинские войска, а в Афганистане и еще ранее в Венгрии и Чехословакии — советские части; теперь в Польшу — угроза вмешательства советских войск).



В-третьих, поставить барьер перед мировой общественностью, когда она хочет поддержать народы этих стран в их борьбе за свободу — для этого и существует весь колоссальный военный потенциал Советского Союза, направленный против США и стран Западной Европы.

Подавить общественное мнение, подавить живой опыт истории — единая задача коммунистического аппарата и во внутренней, и во внешней политике. И при этом разобщить силы здравого смысла, поставить перед ними барьеры, запреты, целые армии.

Такова простая схема...

Между тем советскому общественному мнению, которое есть самая близкая и потому самая опасная сила мирового здравого смысла, предъявляется лишь последнее звено цепочки, лишь финальная конфронтация: США против СССР. Враг угрожает Родине. Причем природа этой конфронтации советскому человеку совершенно не ясна — почему они нам угрожают? И поскольку никто из нас не может предположить, что мы стремимся захватить Америку, остается полагать, что это Америка стремится на нас напасть — вон какую военную силу выставили! — и спасибо нашему правительству, что ответная сила не слабее, а даже и посильнее... О том же, что мы защищаем не Родину, а коммунистические режимы каких-нибудь там Душ Сантуша или Менгисто Хайле Мариама от их народов — об этом советский человек и не догадывается. У нас один враг — США. И мы ему не уступим!

Опасность войны становится основой политической доктрины. Сильнее и не придумать аргумента в пользу правящей силы, в пользу чрезвычайного правопорядка, в пользу сохранения внутриполитическго статуса кво — или даже в пользу ужесточения внутренней политики.

Родина в опасности! Время ли тут говорить о либеральных реформах? Мысль о социально-экономическом движении, развитии, изменении отодвигается на второй план. Еще до

войны страна начинает жить по законам военного времени. Еще без войны все измеряется войной, все оправдывается войной.

Современного советского человека одуряют, охмуряют военной опасностью; проблемы внешней политики — в их интерпретации всякими Зориными, Жуковыми, зубковыми, несть им числа и сметы — навязываются ему повсеместно и ежечасно, оттесняя на второй план факт отсутствия мяса и молока в магазинах. Вместо альтернативы жить хорошо или жить плохо нам подсовывают иной выбор: жить или не жить.*

Тут идеология узурпирует понятие Родина, как ранее она узурпировала понятие государство. Охранительная доктрина и лозунг "Отечество в опасности!" начинают полностью определять внутриполитическую ситуацию, а истинные интересы общества отодвигаются далеко на задний план.

Так создается ложная ситуация "сотрудничества" общества с партаппаратом. Так создается возможность проводить любую политику внутри страны. Так партаппарат, стесненный в обычных, мирных, условиях давлением общественного противодействия, теперь может или направить это противодействие в нужное русло и там его контролировать (в экономике), или подавить его физически (в политике, идеологии, культуре, религии, а может быть, и в той же экономике, если так будет удобнее).

---

*Теми же методами охмуряется и мировое общественное мнение. Развертывая демагогическую кампанию "борьбы за мир", советские политики никогда и нигде не отказались от своего "права" вооруженной поддержки коммунистов любой страны, если те захватят власть. Да не то, что право — прямо-таки долг, "интернациональный долг"! Это значит, что любые 20-30 человек в любой стране имеют чрезвычайное право захватить власть и вызвать на помощь советские или кубинские войска, — а там говорите о разрядке и о правах человека сколько угодно. Используя в своих политических целях демократическую процедуру ("движение за мир") в Западных странах, советские политики никогда и нигде не отказывались и не откажутся от своего "права" заткнуть глотку любой демократии в любом уголке земного шара. И чем громче при этом будет болтовня о разрядке, тем лучше.



Возможность политики еще не есть сама политика. Развязав себе руки для дальнейших действий, партаппарат не обязательно приступит к этим решительным действиям — по крайней мере, не обязательно приступит к ним немедленно. Сегодня еще и сама ситуация "сотрудничества" остается в области возможного — и на нее-то еще нужно решиться, и ее-то долгосрочные последствия нелегко предсказать и тем более трудно контролировать...

А какие могут быть последствия? Подумаем.

Очевидно, что "ситуация сотрудничества" построена на обмане. Но общественное мнение нельзя обмануть надолго — и уж, конечно же, нельзя обмануть навсегда. Даже в нашей закрытой государственной системе, где на слово истины наложен запрет, истина неизбежно находит время и место проявить себя. И прежде всего она проявляется в нашей обыденной жизни.

Иное дело — обман в сфере внешнеполитической. Международные отношения — вне естественного опыта простого человека. Тут его мнение целиком и полностью формируется под воздействием средств массовой информации, — а в наших условиях — под воздействием коммунистической пропаганды. Тут возможен глубокий угар, который в обыденной жизни никак не проветришь, не выветришь... Страшно, если протрезвление наступит только после войны. А история человечества подсказывает, что именно так и происходит (Наполеон, первая мировая война, Гитлер), когда общественное мнение формируется пропагандистской моноидеей.

Все это, конечно, понимают советские политики. Хотят ли они войны? Вряд ли. Надо полагать, что они с большим удовольствием прибрали бы мир к рукам мирным путем или с помощью локальных войн, как это им и удавалось до сих пор (Вьетнам, Куба, Ангола и Эфиопия, Никарагуа и Афганистан), — это более надежно, чем рисковать и собственной жизнью, и собственной властью в случае глобальной войны.

И во внутренней политике они с большей охотой будут оперировать гипотетической опасностью войны, чем реальной опасностью военного поражения. Опасность — уже сила в пользу

правящего аппарата. Опасность — уже инструмент воздействия на общественное мнение, инструмент запугивания общества. Опасность войны для нас — что-то вроде опасности наших танков для венгров и поляков — решающий аргумент в пользу сохранения существующих порядков.

У правящего аппарата в ближайшее время не будет необходимости прибегать к абсолютным крайностям в политике. Оппозиция общественного здравого смысла пока успешно локализована властями, и одна лишь очевидная возможность крайних мер успешно сдерживает ее дальнейшее развитие. Полоса стагнации пока всех устраивает, и потому в ближайшее время нас, может быть, ждет не столько "кровавый компромисс" (нэп плюс публичные казни "изменников"), сколько ужесточение того "серого террора", который начался еще при Брежневе — все новые и новые попытки правящего аппарата протолкнуть свою политическую волю в обход здравого смысла, избежать прямой и суровой конфронтации, которая со всей определенностью еще раз откроет, кто есть кто в коммунистической системе и кто чего добивается — еще раз откроет людоедскую сущность системы.

Военная же доктрина, ложная "ситуация сотрудничества" как политический прием — будут пока набирать силу и проходить серию частных апробаций, оставаясь, конечно, уже сегодня реальным инструментом нагнетания опасности... Но опасность, которая долго не реализуется, перестает пугать. Опасность надо все время освежать, нагнетать. А нагнетание военной опасности возможно лишь до определенных пределов, далее которых — война.

Нагнетание военной опасности необходимо коммунистическому аппарату еще по одной важной причине, значение которой выходит за рамки внутриполитические. Дело в том, что две главные силы, противостоящие коммунистической идеологии — мировое общественное мнение и здравый смысл советского общества — едины по своей природе, едины как воплощение исторического опыта человечества. И осознание человечеством этого единства — самая страшная опасность для коммунистической диктатуры.



А потому одна из главных ее внешнеполитических задач — эти две силы разобщить, столкнуть. Если этого не произойдет, если силы эти объединяться, то защитникам коммунистической доктрины придется туго...

Словом, как ни мять, ни валять, а в печь сажать. Сколько правящему аппарату ни лавировать, а выбор перед ним все тот же: или нагнетание военной опасности — и война, или настанет момент, когда здравый смысл общества заявит свои права на исторический процесс вопреки "чрезвычайному праву" коммунистического аппарата.

*Окончание в № 77.*

*Исраель Эльдад — один из наиболее известных израильских философов правого националистического направления. Предоставляя ему слово, редакция, разумеется, далеко не во всем поддерживает его взгляды.*

*Исраель ЭЛЬДАД*

# ЕВРЕЙСКАЯ АНОМАЛИЯ В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ

Аномалия, о которой пойдет речь, касается трех аспектов нашего существования. Израиль как государство. Сионизм как национально-освободительное движение. И Израиль как народ.

Обычно само понятие "аномалия" вызывает отрицательную реакцию. Психологически она понятна, но объективно несправедлива. В связи с этим, может быть, стоит вспомнить слова Франца Кафки: "Совсем не обязательно, что чахоточник, рожая ребенка, совершает преступление. Ведь отец Флобера был болен туберкулезом. Существует одинаковая возможность, что ребенок либо погибнет, либо станет Флобером".

Итак, наша аномалия как государства, как народа и как движения — это объективный факт нашего существования. И вопрос в том, поступиться ли величием и страданиями, связанными с этой аномалией, или, наоборот, зная ей цену, всячески укреплять ее?



## АНОРМАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО

Мой первый тезис состоит в следующем: Израиль не является нормальным государством. Что представляет собой нормальное государство? Это государство, отражающее связь между его территорией и населением, и, каков бы ни был его режим, оно всегда стремится принести максимум добра максимуму своих жителей.

Это определение справедливо для всех государств, кроме Израиля. Это единственное государство, которое было создано и существует не для граждан, живущих в нем, а для народа (или его большинства), который все еще находится за его пределами, но который, как мы надеемся, приедет сюда по своему желанию или по необходимости.

Причем сыны этого народа прибудут не как эмигранты, а как репатрианты, возвращающиеся на свою родину, оставленную их отцами добровольно или по необходимости.

Разумеется, мы знаем и другие государства, которые также занимаются репатриацией, но там речь идет о большинстве, живущем в своей стране, и о меньшинстве, оставившем ее.

Израиль был создан незначительным меньшинством, которое прибыло на свою древнюю родину, чтобы создать здесь государство для подавляющего большинства рассеянного народа.

Эта ситуация беспрецедентна. Отсюда и трудности в понимании природы этого государства. Конечно, постоянное еврейское население здесь проживало во все времена, но воззрения и характер этого еврейского "ишува" не толкали его к политической активности и созданию самостоятельного государства.

Закон о репатриации, алия, еврейское воспитание, которое вооружает поколение, рожденное в стране, сознанием принадлежности к народу, большая часть которого живет в рассеянии, — все это, в конце концов, продукт нашей аномалии. И, может быть, даже нет необходимости отмечать, что за тридцать пять лет существования государства количество его населения выросло в шесть раз, хотя и это, конечно, факт беспрецедентный.

Вряд ли протест арабов против алии можно объяснить просто их "злонамеренностью". Арабы выступают против самой сущности сионизма, то есть против создания страны для еврейского народа, большая часть которого пока еще живет в рассеянии. Разумеется, и это ситуация ненормальная с точки зрения общепринятых международных законов.

Чтобы лучше понять суровую сущность нашей аномалии, достаточно сослаться на столкновение, имевшее место в последнее время между общепринятой нормой и ненормальной сущностью нашего государства.

Относительно закона о репатриации можно сказать, что с ним свыклись, хотя в самом этом законе заложена некая "дискриминация" других народов в пользу евреев, то есть почти расизм, хотя здесь и нет биологического признака.

Но вот некоторое время назад встал вопрос о пособиях для многодетных матерей (так называемая "внутренняя алия"), и стало ясно, что речь пойдет тут о дискриминации части жителей Израиля — арабской его части. Это противоречит общепринятым нормам в стандартных демократических государствах. Соблюдать эти нормы — значит установить равный для всех закон и предоставить арабским семьям пособия, способствующие росту арабского населения в Израиле... Убереги нас разум от этого!

Всякий, кто, хоть и не является врагом Израиля, но не признает аномалии этого государства, — разумеется, ни в коем случае не согласится принять закон, в основу которого положен национальный или религиозный признак и который, таким образом, распространяется только на часть граждан. Он увидит в таком законе расовую или национальную, или уж, во всяком случае, этническую дискриминацию. И тотчас будет готова аналогия с расистскими законами Южной Африки. Более того, это мнение, возможно найдет поддержку среди евреев — граждан Израиля и в партиях, называющих себя сионистскими...

Но ведь предпочтение, оказываемое внутренней еврейской алие, не менее оправдано, чем закон о репатриации, который также базируется на предпочтении, оказываемом евреям перед другими народами: еврей из СССР или США может возвратиться в Израиль, но палестинский беженец получит отказ, даже если поколения его предков жили на этой земле.



Все это, господа читатели,— и среди них и самые чувствительные, и либеральные, и демократические — правда. Может, и жестокая, но правда! Во всяком другом случае есть опасность, что будет упразднен смысл существования Израиля, утратится его особость среди других государств мира.

А может быть, нет? Может быть, все-таки имеет право на жизнь приведенная выше аналогия? Разве мы не протестуем против того, что Советский Союз требует свободы для коммунистических партий в других странах, а сам бесстыдно устанавливает диктатуру ("пролетариата") и подавляет все иные политические партии? Спросите об этом коммуниста, и он даже не поймет, что вы от него хотите: ведь в Советском Союзе осуществляется коммунизм! Это ли не пример — один из многих — что законы демократии не распространяются в равной мере на все страны* И те из них, которые осуществляют идею (социальную, религиозную), подчиняют этой идее другие ценности. Это порядок, к которому мир уже привык (хотя и осуждает его), сделался нормой в так называемых революционных странах. И нам не остается ничего иного, как применить этот принцип к осуществлению сионизма.

Ведь и здесь идет речь об идее, которая имеет преимущества перед другими ценностями, как то: равенство всех — евреев и неевреев — перед законом. Однако эту аргументацию можно было бы признать бесспорной, если бы не наше требование к народам мира считать Израиль по уровню демократии равным лучшим современным государствам, где никакая революционная цель не противостоит другим ценностям.

Но не только в этом пункте (предполагающем дискриминацию нееврейского населения), но даже и тогда, когда речь заходит о самих еврейских жителях, демократическая идея приходит в конфликт с сионистским содержанием государства.

* Аналогия с СССР вряд ли удачна: СССР - государство тоталитарное, Израиль — последовательно демократическое. (Примеч.ред.)

Нужно ли, например, резрешать или даже поддерживать из бюджета государства литературу и искусство, выступающие против центральной идеи государства. Выражаясь проще, можно ли именем израильской демократии проповедовать цели, подрывающие самую суть государства Израиль?

Можно поставить вопрос иначе: будет ли для нас обязательным решение Кнессета, упраздняющее закон о репатриации (если в известный момент там появится соответствующее большинство, в том числе и арабское), то есть будет ли обязательным решение, устраняющее аномалию государства и устанавливающее его окончательную "нормализацию"?

Но вся сложность ситуации и состоит в том, что норма государства Израиль — это его аномалия. И этой аномалией определяется его сущность, его внутренний смысл.

Ненормальность государства Израиль вытекает и из его другой аномалии, имеющей более глубокое измерение, — аномалии освободительного движения, имя которому сионизм.

## КРИЗИС И ТРУДНОСТИ СИОНИЗМА

Что такое нормальное освободительное движение? Если речь идет о национальном освобождении, то это освобождение от чужеземного господства. Если — о социальном освобождении, то это борьба за изменение экономического режима или порядка.

В "Бейтаре" (молодежном движении, вдохновляемом Жаботинским) и в подполье мы изучали освободительную борьбу поляков, ирландцев и т.п. и, как всякое воинствующее политическое движение, мы в центр внимания всегда ставили то, за что боролись, не раз преуменьшая значение требований наших противников (а иногда и гонителей).

Время разрешает такие противоречия. Всякий путь (борьбы) хорош в свое время, но и это нельзя утверждать безапелляционно. Теперь, например, нам ясно, что активный сионизм, боровшийся против британского владычества опоздал.



Во всяком случае государство Израиль, созданное в значительной мере благодаря этой борьбе, запоздало, поскольку ему так и не удалось спасти от гибели шесть миллионов евреев. Это уже наверняка. Хотя, конечно, нельзя с определенностью сказать, что победивший сионизм смог бы предотвратить эту гибель. Мы никогда об этом не узнаем с той долей уверенности, с которой знаем о гибели трети нашего народа...

Так или иначе, сколь бы ни велика была роль подполья в деле изгнания англичан, нельзя не видеть, что главная задача сионизма состоит и состояла в том, чтобы привести еврейский народ в Эрец Исраель.

Какое национально-освободительное движение задавалось такой задачей? А задача превращения торговцев, посредников, гуманитариев, людей, лишенных всякой специальности, в трудовой народ в подлинном смысле этого слова? Можно спорить о целесообразности этих задач с точки зрения количественного роста народа. Можно спорить о целесообразности привлечения к решению этих задач марксистской или социалистической идеологии. Но сам идеал, а также сама деятельность в направлении создания трудового народа в духе Гордона ("Труд — как идеал, как идея избавления человека") или в духе Борохова (стихийная экономическая необходимость) несомненны.

Доктрина Жаботинского состояла в том, что и средний класс — ремесленники, торговцы, мелкие промышленники — должны иметь больший вес в народном хозяйстве. Да и невозможно было представить себе осуществление сионизма только на сельскохозяйственном базисе, как бы ни была полезна идея возвращения к земле. Значит, надо было создать новую демографическую структуру, которая у других — "нормальных" — народов была налицо. А обновление еврейского языка? — Даже Герцль не верил в него. Это ли не чудо, не имеющее прецедента?

Даже на внутреннем фронте не все поддерживали сионизм. Справа были еврейские религиозные массы, которые видели в сионизме новый вид лжемессианства. Слева стоял "Бунд" — самое многочисленное еврейское рабочее движение. А в цент-

ре — либералы, эмансиписты, верящие в прогресс, свободу или просто придерживающиеся принципа, выраженного латинской пословицей: там, где мне хорошо, там моя родина.

Какое освободительное движение в мире стояло перед столь сложными задачами? А ведь не вчера и не позавчера была потеряна наша независимость, а уже тысячи лет назад!

Эта аномалия нашего освободительного движения является источником трудностей, внутренних и внешних, физических и психологических. Христианство, ислам и коммунизм, мировые державы (исключая немногие и лишь в определенные периоды) всегда были против нас. Известно, что и в неевреийском мире некоторые загорелись фантастической идеей сионизма. Но что поделаешь: большинство неевреев, они же люди нормальные. И как сказано, "ненавидит Исав Иакова!"

Если бы можно было сбалансировать создавшееся положение полной поддержкой народа, который мы, сионисты, пришли освободить, если бы весь народ поднялся и переселился в страну, как это было во время исхода из Египта, — этого было бы достаточно. Но для этого нужно, чтобы мы были народом нормальным.

## НАРОД НЕ КАК ВСЕ

В нашей политической действительности проблема изоляции вновь и вновь встает перед нами, вызывая смешанное чувство заботы и сожаления. А ведь впервые о нашем экзистенциальном одиночестве мы услышали из уст Валаама, который сменил проклятье благословением: "Как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль!" Слова Валаама были сказаны не в дни галута, то есть они не были продуктом того, что определяется историками как "еврейство, замыкающееся в себе, амбициозное, избранническое, страдающее мегаломанией", они не были вызваны к жизни галутной ситуацией или "галутной компенсацией". Значит, перед нами был взгляд сущностный, первоначальный, предгалутный.

Далее, представление о нашем существовании как об одиночестве не соответствует смыслу этого слова вообще. Представим себе одинокого человека. Ведь это печальное состояние, человек, оставленный, забытый, не существующий в сознании других.



Но разве так выглядит наше одиночество в мире? Разве не в противоположном правда? Разве не скучаем мы иногда... по былому одиночеству, чтобы прекратили хоть ненадолго интересоваться нами, чтобы перестали мы быть в центре нескончаемых дискуссий в ООН или в центре забот Ватикана — черного или красного?

Ведь мы, в сущности, незначительная малость среди других народов. Это было еще отмечено в Торе, которая подчеркивает и другое: нашу ненормальную сущность, исключающую наше одиночество. И может быть, когда в средние века нас заперли в гетто (есть такие, что утверждают, что мы поспешили сами зепереть себя), мы стали бродильным началом среди неевреев, в среде которых мы жили. Те, кто еще со времен Французской революции считал, что падение стен гетто упразднит нашу особость, вплоть до нашего полного исчезновения, — получили сегодня возможность убедиться, что это не так.

Евреи эмансипации, стремившиеся бежать от кажущегося еврейского одиночества, попали в ситуацию трагической экзистенциальной отчужденности, иногда в ситуацию, не лишенную даже комизма.

Кросман обрисовал ее в своем рассказе о социал-демократическом вожде-еврее, который бежал из Берлина и прибыл в Лондон, где был ему устроен прием в лейбористском центре. Когда председательствующий напомнил, что гость — еврейский беженец из нацистской Германии, гость заметил: "Я оставил еврейскую общину еще в двадцатых годах". На что председательствующий саркастически, с чисто английским юмором реагировал: "Я не знал, что еврейство — это клуб!"

Так вот: не клуб, и пусть корень вещей будет метафизическим. Фактом (или, чтобы придать ему философскую окраску, фактом экзистенциальным) является то, что мы имеем дело с особого рода сущностью, которую не только никакой топор не вырубит, но не способна объяснить никакая историческая) или философская теория.

Действительная историческая правда, наиболее действительная из всех, — это легенда об Аврааме, сыне Фарры, который разбил идолов отца своего и был поэтому осужден Нимродом, брошен в огненную печь, оттуда вышел живым и пошел в Ханаан. Такова квинтэссенция нашей истории, но также квинтэссенция идеи сущности нашего существования.

До сих пор мы разрушаем идолов, созданных неевреями, нас за это осуждают и преследуют, но мы преодолеваем и огненные печи: выходим оттуда на землю обетованную. Хотя все против нас — от Нимрода до Гитлера, говорящего Раушнингу ("Беседы с Гитлером"): "Мы признаем богов природы, евреи привнесли в мир мораль, дух и совесть".

Что в еврействе миф и что действительность? Так же, как не удалось людям теории объяснить тайну нашего существования — а люди духа (от Валаама до Достоевского) не переставали заниматься чудом нашего существования, — так же и врагам Израиля, мечтающим сломить его, вплоть до полного уничтожения, это не удалось. Не удалось никому — от фараонов и Аманов до ненавистников народа Израиля в наши дни, действующих разными средствами — приманками, подавлением, попытками отколоть от нас колеблющихся и готовых к ассимиляции.

Пинскер в своих "Любителях Сиона" еще в конце прошлого века сравнивал еврейский народ с призраком мертвеца, расхаживающим среди живых. Однако призрак этот проявляет творческую активность почти во всех областях человеческой жизни и продолжает приносить миру гениев — Маркса, Фрейда, Эйнштейна, — сметающих вчерашних идолов и призванных "исправить" мир Божий. Это наш "этос", это наш "пафос". "Этос" — когда мы отвечаем на вопрос, что дает еврейство человечеству. "Пафос" — когда мы объясняем, как оно это делает.

В свое время Сартр пытался дать экзистенциальное объяснение еврейству и антисемитизму, но к концу жизни признал, что и он не в состоянии понять экзистенцию еврейского народа без понимания его сущности. А сущность его в монотеизме. Признание это привело Сартра, как он писал сам, к ревизии своих взглядов на всю человеческую историю,



Ведь и Тойнби, ненавидящий нас за само наше существование, граничащее с чудом (опровергающим его теорию), в то же время признает само чудо. Но, по его мнению, мы не более чем окаменелости, не более чем монументы. Нужно ли подчеркивать, насколько смешным выглядит это объяснение, если сопоставить его с динамической и творческой жизнью еврейского народа!

Китайский народ — древний народ, создавший великую цивилизацию. Он более древний народ, чем мы, а количественно мы вообще не идем с ним ни в какое сравнение.

Существование этого народа творческое, но нормальное. В нем нет чудес. Наше же существование граничит с чудом.

Китайцы не знали галута, не знали сплоченного национального существования и в рассеянии, не знали преследований, которые выпали на долю евреев. И еще — и, может быть, это определяющее — нет никакого сравнения между тем, что дал китайский народ (культурный вне всякого сомнения!) миру, и тем, что дали мы.

Многие народы внесли свою лепту, чтобы потом сойти с исторической арены. Давид Бен-Гурион спрашивал когда-то: что общего между нами и египтянами? Мы говорим на языке пророка Исайи и читаем написанное Ибн Гвиролем. Насер же (который гордился, что он сын народа более древнего, чем мы) не умеет читать писания Рамзеса и не говорит на его языке. Значит, мы представляем не просто древнюю, но и преемственную, творческую культуру.

Нельзя также сказать, что наш вклад в мировую культуру исчерпывается религией, пророками, псалмами, книгой Иова. Конечно, они стояли в центре нашего бытия. И признание этого вклада легко дается неевреям и нашим ненавистникам, ибо они рассуждают так: вот это дал народ Израиля, вот это мы получили. Евреи закончили свою миссию, они могут уйти, или мы их "уйдем" сами.

Во-первых, вклад наш не исчерпывается чем-то определенным. Чтобы понять это, обратимся снова к Библии.

Иосиф, будучи советником фараона, сознательно отказывается от внедрения в Египте идей иудаизма. Иосиф раскрывает смысл снов и становится первым их толкователем, вошед-

шим в историю. Вторым, как известно, стал Фрейд. Иосифу принадлежит и историческое первенство в решении экономических проблем путем национализации. Таким образом, можно выстроить линии: от Иосифа — до Маркса.

Тот же, кто говорит, что Библия — это легенда, так же, как он говорит об Аврааме и Нимроде, — пусть подумает, что дал народ Израиля миру после своей эмансипации — в области психологии, обществоведения, физики, а не только метафизики. Все это свидетельства нескончаемого творческого духа.

Во-вторых, творческий дух исчерпывается не только тем, что один народ дает другому, но и тем, что он творит для самого себя. Талмуд, Галаха, религиозная поэзия и философия, кабала и хасидизм и, кроме всего, сам образ жизни: культурный, организованный от рождения до смерти, охватывающий прозу и поэзию жизни — без авторитета государства, устанавливающего свою конституцию. Все это совершенно беспрецедентно, а значит, и ненормально. Но это положительная ненормальность, которая вызывает ненависть, а если быть более точным, — зависть.

Впрочем, зависть и ненависть не были направлены против самого нашего существования. (Были найдены этому объяснения еще до появления теории окаменелости Тойнби.)

Святой Августин не только признал наше право на существование, но даже и считал его необходимым — как свидетельство первоначала христианства. Но не больше: только существование!

Зависть и ненависть — свидетели превращения креста в свастику. (Свастика выросла из креста, даже если на известном этапе она и обратилась против него. И это было почти неизбежно — как последний шаг язычества, воюющего против еврейства, Нимрода против Авраама.) Зависть и ненависть направлены против живого еврейства — они не только не рудимент, но антирудимент.

Гейне признался как-то, что раньше он не любил Моисея за запрет, наложенный на скульптуру (так же, как Авраам был противником изваяний: не делай себе изваяний, чтобы самому не превратиться в изваяние!). А для Гейне не было в мире ничего прекрасней, чем искусство Греции. Но, пишет



далее Гейне, "художественное творение", созданное Моисеем — народ Израиля, — противостоит всему искусству Греции. Недаром Генрих Гейне был так ненавидим нацизмом. Гений немецкой поэзии возвратился к своему еврейскому корню.

Свастика на определенном этапе ополчилась на крест из-за его еврейского корня, для того чтобы возвратиться к Вотану, к природе.

Из всего этого следует, насколько осторожным надо быть в оценке термина "нормальность". Есть "норма" для неевреев, и есть "норма" для евреев. И если наша сущность ненормальна соотносительно с их нормальностью, — пусть так и будет! Если есть в нас "изъян", то он у нас на роду. Так что примем его охотно, поскольку он является для нас экзистенциальной необходимостью.

## БУДЕМ ТЕМИ, КТО МЫ ЕСТЬ

— Я есмь Сущий! — определил себя голос Бога из куста, горящего ярким пламенем, но не сгоревшего и по сей день.

Не забудем: это откровение явилось Моисею накануне его миссии — избавить народ от египетского рабства, избавить от культуры камня и монументальных изваяний, монументальных, но не чудесных. Чудесное означает ненормальное. Это то, что выше сил природы. Это — Бог Израиля и само существование его народа в расцвете и концентрации его творческих сил на земле его предков.

То, что называлось в сионизме нормализацией, то есть стремлением быть, как все народы, не могло быть направлено ни к чему другому, как к возвращению к нормальному базису, физическому, экономическому, государственному, военному. Ведь и гений и пророк обладают физическим телом, дышат, едят, размножаются, борются, живут. Для того, чтобы быть народом святым, надо сначала быть просто народом, Это следует сказать тем, которые хотели видеть в нашей аномалии лишь стремление к духовной жизни, без нормального государства.

Аномалия наша не означает, что мы ангелы. Идеал наш — человек по образу и подобию Божьему, народ — по образу и подобию Божьему — не Бог и не сын Божий, и не вечность в виде застывшего монумента. Наша вечность — в борющемся Иакове, в Израиле, который боролся и с Богом и с людьми.

Мы возвращаемся и создаем свое государство как базис для нашей устремленной ввысь лестницы, твердо установленной на нашей земле. И универсальные пророки родились в этой стране. И первая цельная конституция, Мишна, которая нас сплотила в галуте, создана в этой стране. И лучшее наше творчество в галуте было направлено к нашему возвращению в эту страну. И этих Иосифов (много их было в последних поколениях) во всех странах фараона не знали фараоны, или, наоборот, именно потому, что знали, — завидовали им, ненавидели их и осуждали детей их и братьев на гибель. Пока не загорелся несгораемый куст. Пока не взвился пламенный столп, предназначенный для того, чтобы вести нас. Валаам стоит и готов проклясть, но вынужден благославлять — как прекрасны! — и поражаться народу, живущему обособленно.

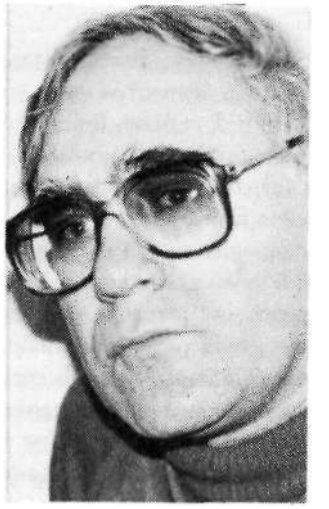
Все это в нашей сущности. Не могли пророки убежать от своей миссии. Не можем и мы избежать своей сущности. "Будь я тем, кем буду!" — гласит древнее пророчество. И в этом выражение нашего земного еврейского сегодня.

Будем же знать нашу сущность, экзистенциальную эссенцию нашу, от которой нельзя убежать. Да и почему хотеть нам убегать от нее?

Это имеет свое практическое приложение во всех областях жизни, когда мы говорим о назначении государства Израиль, как сионистского государства, призванного собрать воедино рассеянные по миру части тела, духа и гения народа.

Это и есть наша норма. Стремящийся же к тому, чтобы стать нам, как все народы, зовет нас, по существу, к самоубийству. Такая нормализация нежелательна, да она и невозможна, разве лишь с приходом Мессии, но это будет уже конец истории. А мы лишь у истоков нашего обновления.

*/"Ума"/. Перевод с иврита М.Левковича*



*Илья ГЛЕЗЕР*

# АМЕРИКАНСКИЙ СТУДЕНТ

Удивительная эта вещь — человеческая память. Ведь прошло более двадцати лет с тех пор, как я в последний раз рассказывал и объяснял моим студентам-биологам Московского биофака, как устроен человеческий мозг, этот поразительный желеобразный орган, вмещающий в себя весь наш мир (всего лишь полтора килограмма и на 80 процентов ведь вода!).

Да, двадцать лет, а потом — наука, статьи, ночные бдения за электронным микроскопом... И только изредка встречи с моими бывшими студентами, заматеревшими, обросшими семьями, заслугами, кооперативными квартирами. И не приходило мне в голову, что моя давняя кормилица — анатомия человека, — спасшая меня в эпоху антисемитских пятидесятых в проклятое сталинское безвременье, придет мне на помощь и тут, после освобождения из Гулага и эмиграции.

Стоило мне войти в анатомический театр, вдохнуть давно забытый запах карболки и формалина, как сейчас же всплыли из глубины, казалось бы, прочно и навсегда забытые детали,

соотношения, даже методы рассечения человеческого тела. И я тут же, несмотря на то что три языка боролись между собой у меня в голове (иврит, английский и русский), стал что-то объяснять моим новым, но все тем же, девятнадцатилетним студентам, отважно продирающимся к истине сквозь мой неисправимый великоросский акцент. Как тут не вспомнить о возвращении на круги своя...

В моей альма матер, Московском государственном, что выходит на Манеж и смотрится с Воробьевых гор в Москву-реку, был очень хороший обычай: каждый биофаковец должен был знать в своей специальности, помимо самых последних и наимоднейших веяний и фактов, нечто основное и устоявшееся. Скажем, знаток этологии, следящий за поведением и миграцией белых медведей с помощью самой совершенной радиоаппаратуры, был, кроме того, и знатоком в номенклатуре какого-нибудь забытого всеми рода грызунов, или физиолог растений, кроме того, был систематиком какого-нибудь семейства губоцветных. Вот и моя анатомия человека тоже принадлежит к этому фундаментальному роду человеческого знания. Кто знает, сколько от всех этих бесчисленных современных и ультрасовременных фактов и фактиков станет частью Истины?! А вот то, что у нас у всех только двенадцать черепно-мозговых нервов, это навечно, и без этого нельзя обойтись, если хочешь лечить людей и зверей!

Так уж получилось, что мои студенты рассеяны по разным континентам и живут при разных, ох, до чего же разных, режимах. Может, и не стоит ворошить, но все же иногда я задаюсь вопросом: "Что сближает и что отличает эту необъятную толпу молодых лиц с глазами, неуспевшими помутнеть, с телами, неуспевшими расплыться или сгорбиться?"

Когда я прохожу мимо здания моего Сити-колледжа, что в самом сердце Гарлема, то уже почти не замечаю многочисленных плакатов на столбах и мусорных ящиках — плакатов, которые поначалу вызывали у меня легкую оторопь: "Да здравствует палестинская революция!" "Все — на празднование Дня Иерусалима!" "Первое мая — день пролетарской солидарности — все желающие приглашаются принять участие в



Марше на Вашингтон!" "Руки прочь от Сан Сальвадора и Никарагуа!" "Да здравствует Черная армия освобождения!" И все такое же, в том же весьма броском и зазывающем стиле.

Обилие этих лозунгов таково, что иногда я чувствую себя не в Америке, а на противоположной стороне земного шара у проходных ворот Московского университета, где в общем-то висели примерно те же лозунги, только покрупнее намалеванные.

В Сити-колледже, перед зданиями странной средневековой архитектуры, я часто вижу и — более того — слышу разнообразные собрания и митинги. Вооруженные стоватными микрофонами ораторы проклинают Америку, призывают все громы и молнии на голову Рейгена, вещают о бедности и безработице, о дискриминации черных и прочих цветных "майнорити" (меньшинств — которых по арифметическому здравому исчислению в Нью-Йорке больше, чем "угнетателей" — белых).

Я слушаю и смотрю на эту толпу красивых, молодых лиц и тел, одетых или раздетых по самым последним требованиям моды. Я смотрю на молоденькую девушку-негритянку со смешными хвостиками на голове, с бубенцами на шапочке; она исступленно вопит в микрофон, призывая к разрушению капитализма, империализма и их союзников — сионизма и фашизма! Я смотрю на эту толпу упитанно-джинсовых молодых людей, скандирующих: "Санденистa, Санденистa! Кастро — да! Рейген — нет!" Я слушаю эти истерические возгласы и вспоминаю, что в Сити-колледже все или практически все студенты на дотации от государства (от империалиста Рейгена), что плата за обучение примерно 1200 долларов в год, а там, где "империалисты" руку не приложили, в частных университетах например, студентам приходится платить до 25 тысяч в год! Я смотрю и понимаю, что, собственно говоря, я — "белый угнетатель" — оплачиваю все эти митинги, лолузнги, дотации.

И вспоминается мне иное место на земном шаре, где, по словам девушки с бубенчиками на шапке, "царит равенство и братство, свобода и справедливость". Та же студенческая

толпа, те же молодые лица, ясные глаза, — только все представители белой расы, ибо если и водятся меньшинства в СССР, то принадлежат к той же самой расе. И здесь тоже митинг, с лозунгами и ораторами. Кого же здесь осуждают и проклинают? Да все тех же капиталистов и империалистов, сионистов и фашистов. Только ораторы — поскучнее, да и толпа слушает рассеянно и по обязанности.

Но вот один из митингов я запомнил на всю жизнь. Перед самым этим "партийно-комсомольским" собранием пронеслись шепоты и слухи по биофаку Московского университета, что мол обнаружена подрывная, антисоветская группа на втором курсе и будут ее сегодня обсуждать и исключать из комсомола.

Зал — битком (на других собраниях комсомольские вожаки из сил выбивались, чтобы набрать кворум). Синевато-бледные лица — публично осуждаемых. Их запинающиеся ломкие голоса, читающие что-то по бумажке:

..."Собирались в лесу, пели песни и читали вслух отрывки из произведений товарища Ленина и Сталина. И обсуждали прочитанное..." И хуже всего, что эти "сборища", как заявил парторг факультета, наша эмбриологиня, сухощавая и прокуренная Елена Ивановна — "отвлекали от субботников и воскресников, организованных партбюро".

Всех этих ленинско-сталинских почитателей, конечно же, исключили из университета.

Я смотрю на ораторшу с бубенчиками на шапке и думаю: "А как бы ты, голубушка, запела в этом случае?" Впрочем, я не обольщаюсь, может быть, и не запела, а вот так же методично стала бы стучать и доносить, как Елена Ивановна.

Да, крикливы студенческие лидеры и запевалы. И там в Советии, и тут в Америке. Но, к счастью, здесь огромное их большинство остается лишь воспоминанием в выпускных памятных книгах, издающихся каждым студенческим курсом, а там в Советии комсорг курса, комсорг факультета, парторг и т.д. — это ступеньки в карьере. Сколько их этих "вожаков" с минимальными способностями становились потом директорами институтов, ректорами университетов, а то и министрами.



...Московский университет конца пятидесятых. Еще цепки путы всех этих идеологических "дискуссий" и кампаний, еще "ген" — запретное слово, хоть и есть уже кафедра генетики, однако царят там сталинские мастодонты: Презент (академик!), Куперман...

И вот на факультете — событие — приезжает "ведущий" биологический гений Трофим Денисович Лысенко. Огромная БЗА (Большая Зоологическая аудитория) полным полна и студентами и профессорами. "Лидер" — в данном случае "научный" — хриплым пропитым голосом вещает: "Не эволюция, но революция порождает новые виды животных и растений. Все это глупые сказки, что кукушки подкладывают свои яйца в чужие гнезда. Если зяблик начнет кормить своих птенцов мохнатыми гусеницами, то птенцы вырастут в кукушек". Оторопевшие от этого "открытия", мы переглядываемся. Вдруг из задних рядов амфитеатра раздается мальчишечий голос: "Трофим Денисович, а в Африке живут кукушки, что высиживают свои собственные яйца и кормят птенцов не гусеницами, а термитами! Как же быть с ними?" Лысенко всматривается маленькими глазками в вопрошающего, откидывает тощий гитлеровский чубчик со лба и отвечает: "Я всегда знал, что Московский университет — реакционное заведение!" В зале веселый шум.

Нет, тоталитаризм и авторитарность не врожденное, а приобретенное свойство. Здесь, в свободном мире у него есть достойный, но не столь опасный конкурент: нравственный климат, насаждаемый большинством, а иногда и меньшинством. Вот в Сити-колледже студенты самых разных специальностей — от инженеров до биологов — должны писать сочинения по заданию своих преподавателей с гуманитарных кафедр. И хорошую оценку можно получить, если сочинение проводит социалистические взгляды, со всякими осуждениями эксплуатации, порабощения, критики рейгеновской экономической политики и т.п. И студент рискует хорошей оценкой, если выразит нечто противоположное, апологетическое по отношению к американской системе жизни. А все почему? Социальные кафедры стали в Сити-колледже (впрочем, и в других университетах Америки) заповедным лесом для тех

же мастодонтов и саблезубых тигров, укрывшихся сюда после революционных шестидесятых годов. Однако, как показали дальнейшие события, после Вьетнама и Уотергейта Америка все же предпочла Рейгена, а не Мак-Говерна и Анджелу Дэвис.

Ну это меня опять занесло куда-то от студенческой темы. Давайте вернемся к ней. Когда меня спрашивают, где система высшего образования лучше — здесь, в свободной Америке, или там, за железным занавесом, — то мне трудно дать однозначный ответ. Если судить по количеству систематических знаний, внедряемых в мозги студентов, то советская система далеко впереди. Ну вот для сравнения: в моей Медико-биологической школе (что-то среднее между мединститутом и биологическим факультетом) на первом курсе всего-то предметов — анатомия человека, органическая химия и еще что-то вроде исторического материализма. Здесь это зовется "социальными науками". И это на весь год! А на биофаке в Московском университете я помню, что на первом курсе мы изнывали от анатомии человека, общей биологии, зоологии беспозвоночных, высшей математики, физики, органической и неорганической химии, ботаники, я уж не говорю о пресловутых семинарах по истмату и диамату и военному делу. Помнится, в первый год мы плакали и рыдали от недостатка времени.

Но если вы думаете, что американские студенты не плачут и не рыдают в первый год в университете, то вы ошибаетесь. Тоже плачут. Все в мире относительно. Несмотря на облегченность американской университетской программы, предыдущая по времени — школьная программа — еще легковеснее: ни тебе домашних заданий, ни обязательных предметов — хочу математику изучаю, а хочу и сделаю основным предметом пение. Вот и жалуются здешние первокурсники и не успевают, и проваливаются на экзаменах. Ибо после школьных игр университет кажется им суровой муштрой. А все почему?

В американской школе царит особый психологический метод: знание приобретается в игре, и чем занимательнее игра, тем лучше. И не важно, что знание, отсюда проистекающее,



поверхностно и непрочно: мозг — так уверяют психологи — развивается у ребенка лучше. Может быть, это очень верно и хорошо, особенно для первоклассников шести-семи лет, но когда я смотрю, как в 12-ом классе учитель физики, пытаясь занять восемнадцатилетних балбесов и балбесш, показывает фокусы и упражняется в жонглировании для демонстрации законов гравитации, мне становится неловко и за учителя и за учеников, бьющих от радости в ладоши. И кажется мне все это искусственным затягиванием детства. Инфантилизмом, если хотите научный жаргон. Недаром американские подростки, перейдя в университет, все еще называют себя "кид" (в переводе "дитя" или — что мне нравится больше — "козленок").

Усы и груди у этих "козлят" развиты соразмерно законам полового созревания, а вот мозг где-то там между 12-13-ю годами, особенно в смысле ответственности перед собой и другими. И я не раз слышал жалобы: "И как же это вы так наваливаетесь на нас, детей, со всеми этими лекциями и лабораторными занятиями?!"

Впрочем, это желание не принимать жизнь и учебу всерьез — желание затянуть детство свойственны не только студентам. Это мне представляется одной из тенденций американского счастливого (да, счастливого!) общества, не знавшего более чем столетие войн на своей земле."Не принимайте это всерьез" (take it easy), "Веселитесь!" (have fun) — обычные американские эвфемизмы.

Признаться, я завидую и восхищаюсь этому облегченному отношению к жизни. И не хочу, чтобы оно изменилось, стало тяжеловесно-серьезным по-европейски или еще хуже — по-советски. Я только боюсь, что при столкновении этого облегченного образа жизни с приземленным, тренированным на голоде и холоде, на нравственной и физической муштре преимущества будут на стороне последнего.

Впрочем, есть надежда, что все-таки в конечном счете система свободного общества устоит и, более того, поглотит всю эту социалистическую "демократию".

И вот тут-то я хочу рассказать об огромном и несомненном преимуществе американской свободной системы выс-

шего образования над советской. Советская система начиняет мозг человека знаниями, как повар начиняет кишку колбасным фаршем. На этом заканчивается ее преимущество, ибо оперировать этими знаниями она не учит и даже не задумывается над этой проблемой. Учителя и ученики точно знают, что и в какой форме положено знать, что не положено. Все регламентировано и разложено по полочкам. И потому среди всей этой огромной армии специалистов с высшим образованием только единицы могут подняться над обыденностью и произвести нерегламентированное знание — сотворить чудо.

В свободной системе — совсем иначе. После первого трудного года студент быстро привыкает, оглядывается и начинает поглощать знание, но не советским методом, а избирательно, ибо времени вполне достаточно, чтобы, помимо обязательных предметов, выбрать то, что формирует душу и учит видеть мир глубже и шире. Словом, то, что создает личность.

Мои теперешние студенты — разные изначально, хоть и все они кончали американскую школу с ее играми вместо уроков: Марк из ортодоксальной еврейской семьи с его вечной кипой на голове и соблюдением субботы, Анвар — ливанец, трепыхающийся при виде каждой новой юбки, но соблюдающий все мусульманские обычаи, вплоть до коленопреклонений и троекратных молений прямо в лаборатории на полу, коротенький, напоминающий миниатюрную обезьянку Чарли — негр с острова с ироническим названием Остров невинности (этот одержим рок-музыкой и снимает свои стереонаушники только, чтобы поговорить со мной о чем-то существенном) , Сэм — тоже негр, но совсем другой — большой, начиненный мышцами, молчаливо-задумчивый и обожающий классическую музыку и дадаистов. Все они разные и общее у них только то, что они очень ревниво защищают свою индивидуальность: свое место в пространстве (мой стол, моя табуретка, мой скальпель), свое место во времени (простите, профессор, но у меня в пять часов встреча с моим другом) и столь же прямо и не скрываясь защищают свои сомнения и мнения.

Все, кто работал в СССР, знают, насколько это необычно для советского студента. Может, это и симпатично звучит: все



мое — твое и все твое — мое, но в лаборатории это создает страшный беспорядок и неразбериху. Мои студенты научили меня уважать время. И вовсе не потому, что оно — деньги, а потому что за компактно проведенный период можно сделать в два-три раза больше... И отношения у меня со студентами здесь совсем иные. Прежде всего нет того проклятого страха: а кто-нибудь в лаборатории — стукач.

Никогда не забуду одного эпизода из моей подсоветской жизни. Был у меня ученик, студент, и после шестилетней работы я, естественно, считал его близким другом, хоть и были мы на "вы" и в гости друг к другу не ходили на чаепития. И вот совершенно случайно, уже после моего ареста и следствия в Лефортовском централе, выяснилось, что этот мой ученик и коллега регулярно сочинял на меня доносы в местное отделение КГБ. Их мне следователь предъявил, и они прошли как еще одно свидетельство моей злостной антисоветской натуры.

Был, правда, у меня в Союзе и иной опыт в общении со студентами. Примерно в то же самое время, перед арестом, подошел ко мне мой дипломник и попросил разговора с глазу на глаз. Вышли мы с ним в небольшой дворик перед лабораторией, и он тихим голосом, почти шепотом сообщил мне, что некие граждане в штатском явились к нему домой, сулили быстрое продвижение по службе и в науке в обмен на ежедневные просмотры содержимого моего портфеля. И он согласился. "У меня ведь выпуск, распределение на носу, в аспирантуру место обещано..." И вот все-таки нашел в себе силы предупредить: "Вы, пожалуйста, не держите в портфеле, ну что-нибудь такое — запрещенное...

Вот от этого орвелловского ужаса я тут полностью избавлен. И могу обсуждать со студентами самые рискованные и замысловатые вопросы: и о Джесси Джексоне — кандидате в президенты, которого считаю не то чтобы нацистом, но вполне подходящим материалом для произрастания нацизма, и о президенте Рейгене мы схлестываемся, и об антиизраильской политике его администрации. И ничего! Не сажают и даже не линчуют меня мои негры.

У меня, помимо маленького аспирантского класса есть и другой — большой, первокурсников. Какой это калейдоскоп! На лекции, я смотрю, в первом ряду сидят смешливая маленькая китаянка Джанель Вей, огромный, более двух метров еврей из Бруклина с ирландским именем Айра, украинец Андрейко из третьего поколения эмигрантов, тощий и грациозный негр с Гаити — Рон, толстенькая, точно собранная из пышек и пончиков, нигерийка с таким русским именем — Мария, жгуче-черноволосый и носатый пуэрториканец Артуро — ну, не класс, а живое пособие по этнической антропологии. Их ведь семьдесят пять, и они все вот такие удивительно индивидуальные по внешности и еще больше по характеру и культуре. И уже с первых своих шагов я чувствую разницу между советским, уложенным в коммунистический режим, отесанным со всех сторон человеком и этими угловатыми, независимыми индивидуальностями.

Средний советский студент (я не говорю об исключениях) спокойно и как должное принимает ту цепкую и методичную мозго-промывательную работу вокруг него, все это накачивание знанием, постоянный контроль. Для большинства — хороший преподаватель — тот, кто легко ставит зачеты и не придирается на экзаменах. Советский студент привык к помощи, опекунству, считает это в порядке вещей.

В американском университете отношения между преподавателем и студентом складываются иначе. Американец (независимо от возраста), как, впрочем, и вообще человек западной культуры, четко очерчивает границы своей индивидуальной ниши, в которую посторонним, даже самым близким — вход воспрещен. Это наверное и есть суть индивидуальной свободы. Человек считает себя свободным, предоставленным самому себе, независимым партнером или (чаще) конкурентом своим собратьям. Поэтому всякая попытка научить, показать сначала воспринимается с недоверием — как желание ограничить или даже проникнуть в запретную индивидуальную нишу. Только осторожно, пробираясь через "минные поля" индивидуальных запретов, предоставляя ученику свободу выбора, пробуждая всяческие положительные эмоции (особенно помогает юмор), можно преодолеть это недоверие, которое наиболее сильно развито у студентов из замкнутых социальных или национальных гетто. И если это препятствие удалено — нет более благодарного и восприимчивого ученика, чем американский (да и не только американский, но и израильский, английский) студент. В этом случае преподаватель становится не просто платной информационной машиной, а другом, близким человеком, к которому можно забежать на минутку, чтобы просто сказать "Хелло!", рассказать о домашних бедах или радостях, похвастаться или пожаловаться на неудачу с очередным экзаменом...



Интересно, как сложилась у меня жизнь: в самом начале, после университета пришлось заняться преподаванием анатомии человека: в аспирантуру не взяли. Ибо, как задушевно и просто сказал мой маститый и уважаемый профессор Г-цкий: "Ну, что я могу поделать, мой дорогой, и отличие в дипломе у вас есть, но не виноват же я, что вы еврей!" А занятия анатомией человека были для меня добыванием в ту пору хлеба насущного. Но странно, полюбил я эти лабораторки, коротенькие импровизированные лекции, полюбил это чувство передачи знания... Но особенно полюбил я непреходящее ощущение молодости или, вернее, постоянное ее возобновление в каждом новом учебном году. А какие курьезные ответы бывают у студентов на антомическом экзамене — это всем известно, но вот у меня был совершенно непечатный случай. Все же попытаюсь его пересказать в удобоваримом виде. Почему-то по негласному уговору не спрашивали мы студентов о строении половых органов. Так и выходили они в пуританском неведении из университета, ибо, конечно же, знали об этом странном обычае, по-видимому ведущем начало откуда-то издалека, из Императорского московского университета. Как говаривал упомянутый мной профессор Г-цкий: "Завтра, Рождество Христово, а предмет — нескромный, так что отложим гениталии на следующий семестр". Ну, а я был молодым, задорным несмышленышем и решил нарушить эту традицию.

На зачете, изнывая от скуки и от двадцать четвертого по счету рассказа о строении грудной клетки или бедренной кос-

ти, предложил я одной очень симпатичной и смышленой студентке большую стеклянную банку с препаратом мужской половой системы. Девица подготовила ответ и вышла отвечать. Поставив пресловутую банку перед самым моим носом и посмотрев на меня ясным взглядом, она сказала: "Это — язык. Он состоит из..." И вот что любопытно, — ведь нашла она, голубчик, все детали, включая вкусовые сосочки, миндалины, надгортанник и прочее и прочее. И я поставил ей зачет, ибо язык она действительно знала. Правда, мои коллеги потом отпаивали меня водой, ибо преисполненный важности, я не мог позволить себе даже улыбнуться, зато в преподавательской мое состояние граничило с умоисступлением — от долго сдерживаемого хохота.

Ох, эти проклятые экзамены и зачеты! Преподавать-то я любил, но многодневные экзаменационные бдения, выслушивания одного и того же по многу раз, эти оценки, ставящиеся по наитию, эти пошлости: "Экзамен — та же лотерея" — были просто мучением.

На Западе вся эта система гораздо более объективна и щадит время, как профессорское, так и студенческое. Во-первых, подавляющее большинство экзаменов — письменные, во-вторых, количество вопросов от пятидесяти до ста пятидесяти — что почти исключает элемент случая (счастливый билетик попался!). Но здесь есть и подвох. Дело в том, что экзамен тут с подсказкой: в самом вопросе содержится верный ответ. Ну, к примеру: "Головной мозг человека содержит: а) один желудочек; б) два желудочка, в) три желудочка, г) четыре желудочка, д) все ответы неверны". Вот студент должен выбрать один, наиболее близкий к истине ответ. Другие вопросы построены сложнее, ибо содержат комбинацию верных ответов (а-б — верны, или: а-б-в — верны и т.д.). Ясно, что головастый студент даже при весьма скромных познаниях может ответить, и весьма прилично, зная механику построения вопросов. Но мне эта система нравится, так как, повторяю, сберегает уйму времени. Ибо после экзамена сами студенты переносят ответы на перфорированные карточки и далее все "в руках" компьютера. Единственно, что меня настораживает в этой системе, так это огромное значение семантики, знание тонкостей языка, а не самого предмета. Рассеянному хоть и знающему студенту в этой системе значительно труднее, чем посредственному, но аккуратному, поскольку технические ошибки (скажем, при переносе ответов на карточки) компьютером учитываются как ошибки в знаниях по сдаваемому предмету, и ему не скажешь: "Простите, я оговорился..." Словом, истина, как всегда, где-то на перепутье: между экзаменом персональным и полностью объективизированным.



Что же касается положения университетского профессора в Америке, то оно несравнимо с престижем, которым окружен профессор в СССР. В смысле несравнимо ниже. Помните все эти: "Подумаешь, нашелся профессор!" "Еще шляпу надел, профессор!" При всей насмешливой презрительности эти реплики отражают, мне кажется, не столько враждебность, сколько особую почетную изолированность, почти недоступность человека, занимающего профессорскую должность. Прибавьте к этому, что в Союзе эта должность к тому же одна из наиболее высокооплачиваемых. К тому же, чтобы стать профессором, требуется годы карабкаться через всякие там кандидатские и докторские. В среднем профессором в СССР становятся, в лучшем случае, где-то прожив более полувека, а о тридцатилетнем профессоре пишут в "Огоньке" или "Литературке": "Профессор — ровесник студентов" или "Молодые ученые рапортуют съезду".

Совсем не то на Западе. Во-первых, профессором можно стать относительно легко и сравнительно быстро. И хотя звание "полного профессора" (не "ассистента-профессора" или не знаю, как перевести лучше — "заместителя профессора", или по-старинному — "товарища-профессора") требует определенного стажа и количества опубликованных статей, но при приеме на работу человек, не получивший этого звания к сорока годам, — определенно вызывает подозрение в смысле квалификации или деловой активности.

Да и зарплата профессора в среднем американском колледже или университете весьма далека от престижных зарплат в

частных фирмах, компаниях и банках. Я боюсь называть точную цифру, но, по данным Ассоциации американских профессоров, их средняя зарплата — примерно между 25 и 40 тысячами долларов в год. Это совсем неплохо, вполне на уровне среднего класса, но не выше. Словом, если хочешь "делать деньги" в Америке, не иди в профессора! Будь либо зубным врачом, либо адвокатом!

Теперь поговорим о профессоре как педагоге — мастере обучать разумному, светлому. Как это ни парадоксально, есть тут некая точка соприкосновения с Советским Союзом.

В Союзе профессорское звание и положение — пожизненная мертвая зона. Будь ты блестящим лектором или никудышным — не важно! Студенты будут слушать, сдавать экзамены и зачеты, а если проявят недовольство — им же хуже!

Профессор будет сидеть в своем кресле до самого старческого маразма (как и кремлевские вожди). Казалось бы, в Америке с ее острейшей конкуренцией на рабочем рынке, профессора должны отбираться по законам естественного отбора, то есть отбирается наиболее приспособленный — в данном случае тот, кто владеет не только знанием, но и способом и искусством передавать его студентам. Ан не тут-то было! Устойчивое сохранение работы в подавляющем большинстве в наиболее престижных университетах зависит отнюдь не от способностей профессора быть педагогом, а от его научной работы. Притом даже не столько от ее качества, сколько от количества публикуемых статей. И еще более от умения профессора привлекать денежные средства для исследований, так называемые гранты.

Дело в том, что только в немногих университетах профессора получают твердую зарплату от штата или федерального правительства из Вашингтона.

В Гарварде, Йеле, Колумбийском университете, только небольшая часть зарплаты идет от государства, а львиная доля от частных пожертвований, студенческой платы за обучение и от этих пресловутых грантов. И поскольку гранты на науку в большинстве случаев поступают также от правительственных учреждений, то университеты очень заинтересованы, чтобы профессора обладали способностью эти гранты выбивать. Ибо значительный процент от грантовских денег может быть использован университетом для своих внутренних нужд, таких, как ремонт зданий, зарплата служащим и т.д. Потому и можно наблюдать в Гарвардском университете, как профессор, который тратит большую часть своего времени на обоснование гранта, прибегает за полчаса до лекции и спешно перелистывает учебник, скажем, эмбриологии. Специалист-то он совсем не по этому делу, а по клеточной ультраструктуре. Но неважно. Перелистав учебник, он быстренько излагает то, что запомнилось, а если студенты задают вопросы куда-то не в ту сторону, то он честно говорит, что ответить не может, но вот придет домой, почитает и на следующей лекции ответит. Я немножко утрирую, но в общем-то картина такова.



Есть, правда, и такие, что защищают плохое преподавание. Мол, оно помогает в отборе наиболее способных и самостоятельных студентов. Словом, бросим щенят в речку — кто выплывет, тот и достоин жизни. Мне этот подход представляется ошибочным. И не только по гуманным соображениям. Я против элитарности в приобретении знания. Плохое преподавание режет самую основу цивилизации: преемственность между поколениями.

После общения с подобным преподавателем у студентов возникает недоверие к профессорам, у которых не хватает времени, чтобы их учить.

Более того, это недоверие распространяется и на все старшее поколение.

Дурной пример заразителен — молодые люди быстро привыкают не только пренебрегать лекциями, но и сам процесс приобретения знания становится сугубо индивидуальным и — что особенно плохо — труднодоступным, И кто обладает некими специальными возможностями (книгами, прошлыми лекциями или списками экзаменационных вопросов), тот не спешит поделиться с окружающими. В лучшем случае взаимная помощь возникает в маленьких обособленных группках или чисто по-американски: за плату.

Такая ситуация, повторяю, свойственна в основном частным университетам. В моем Сити-колледже положение совсем иное (по крайней мере, на том факультете, где я преподаю). Во-первых, профессор "сидит" на твердой зарплате, не зависящей от грантов. И преподавание — его основное занятие. Поскольку контракт возобновляется для большинства каждый год, то преподаватель просто обязан держать "ухо востро", то есть быть высокого уровня специалистом. Его контролируют не только коллеги (при помощи показательных лекций и занятий), но и студенты. В конце каждого годового или полугодового периода студент получает специальный опросник, где он может — анонимно! — поставить оценки и организации курса, и учебным пособиям, и книгам, но — главное — преподавателям.

Я не завидую тому, кто несколько раз подряд получит низкие оценки. Положение его в университете становится весьма неустойчивым.

Вообще же одна из самых привлекательных, на мой взгляд, особенностей американских университетов — это автономность и свобода выбора. Студенты — свободны получать знание в той форме и там, где они хотят и могут. Преподаватели свободны преподавать в той форме и в том объеме, который они считают нужным. Все это называется "академическая свобода".

Вы, конечно, заметили противоречие: а где же рамки или, вернее, где стандартная программа обучения? Ее просто в Америке не существует. Каждая медицинская, скажем, школа имеет свою программу, свой "куррикулум", как здесь говорят. Конечно, этот "куррикулум" имеет свои ограничения и общенациональные рамки, но в его пределах вариации очень велики.

Не знаю, как для других специальностей, но для врачей (и юристов) все многочисленные варианты программ ограничиваются одним, хотя и довольно суровым фактором: студенты после всех этих лет в клиниках и лабораториях (от Аляски до Флориды и от Нью-Йорка до Сан-Франциско) должны сдать труднейший, многодневный государственный экзамен. Словом, можно варьировать и экспериментировать с программами и методами обучения, но результат должен быть единым — выпускник обязан знать тот минимум, что предложен на госэкзамен.



В общем, при всей нестандартности американского высшего образования есть некие регулирующие механизмы (включая и комиссии при штатных администрациях), которые не позволяют "разбегаться" всем в разные стороны и держат университеты и колледжи на некоем среднем уровне.

Итак, как видите, между советской и западной системами образования в университетах существуют как точки соприкосновения, так и непроходимые пропасти. В Америке студенту приходится преодолевать больше ступеней: школа, колледж и, наконец, высшая школа в университете, а затем докторат (нечто вроде аспирантуры) и постдокторат. Основная трудность для американского студента состоит в выборе направления: возможностей — неисчислимое множество.

Советская система имеет меньшее количество ступеней: школа, а далее разветвление — или техникум (очень плохой колледж), или высшее образование в институте или университете. Затем аспирантура, а докторская — это уже вопрос отдаленного будущего.

Но дело даже не в количестве ступеней, а в жесткости программ на каждой из них. Я бы сравнил американскую систему с английским парком, где каждому растению дана возможность развиваться по своим внутренним законам (хоть и есть общая планировка и ограничения в его росте).

Советская система — это огромное колхозное поле, разлинованное вдоль и поперек, и все должны быть картошкой, хоть их внутренняя сущность может быть капустой или орхидеей. И тот, кому посчастливилось быть пересаженным из парников и огородов советской системы образования на просторы американского образовательного парка, ощущает разницу немедленно.

Я ощутил эту разницу уже на первой лекции, когда после первых же моих фраз в разных углах зала поднялось сразу несколько рук, и исчезла эта напряженная полицейско-мушт-

ровая атмосфера лекции, которую я принес из СССР, и началась просто беседа между тем, кто обладает знанием, и теми, кто хочет его воспринять. Исчезла, рухнула искусственная стена между стоящим на пьедестале профессором и мельтешащими где-то там внизу студентами.

Если в Союзе в отношениях между преподавателем и студентами превыше всего соблюдение дистанции (что, может быть, и неплохо, но отдает могильным холодом), то здесь прежде всего я почувствовал дружеское расположение, внимательность ну и, конечно, любопытство. И теперь я уже не удивляюсь тому, что студенты окликают меня по имени и спрашивают, как я провел уик-енд, или же в кафетерии хватают мои тарелки и чашки и перетаскивают к себе за общий стол. Я благодарен им, что на Рождество они повели меня к Рокфеллеровскому центру смотреть, как вспыхнет и зажжется Новогодняя елка... Это ведь мои студенты, часть моей теперешней жизни.

**В РЕДКОЛЛЕГИИ ЖУРНАЛА "ВРЕМЯ И МЫ"**

**Принято решение ввести в редколлегию:**

**профессора социальных наук Пенсильванского университета**
**АРОНА КАЦЕНЕЛИНБОЙГЕНА;**
**политолога ИЛЬЮ ЛЕВКОВА;**
**профессора социологии Мичиганского университета**
**ВЛАДИМИРА ШЛЯПЕНТОХА.**

*Мира БЛИНКОВА*

# О МЕРТВЫХ ДЛЯ ЖИВЫХ

В кругах русского Зарубежья, превыше всего ценящих в литературе необычность словосочетаний и элитарность самовыражения, произведениям Доры Штурман дана оценка: не более, чем перенесенные на печатные полосы лекции. Проигнорируем высокомерие этого определения, и окажется, что более точного и благодарного слова не произнес ни один из самых верных почитателей ее творчества.

В своих статьях, книгах, рецензиях, автобиографической повести она неизменно обращается к аудитории широкой и разнообразной; видит ее перед собой, знает ее настроения. И спешит поделиться с ней, с этой аудиторией, своими мыслями и своей тревогой. И так насущна эта забота, что тут уж не до экстравагантности манеры и словесных и архитектонических ухищрений, к которым так стремятся иные из современных публицистов.

Решившись на дело чрезвычайно сложное и ответственное — уговорить людей в несостоятельности многих их представ-

лений, Дора Штурман нисколько не отказывает своей аудитории в уважении, понимая природу ее заблуждений и доверяя ее здравому смыслу. Она не разрешает себе утверждать что-либо, не опираясь на бесспорные документальные доказательства.

Главный источник ее исследования — прямое слово тех, о ком идет речь. Иногда автор просит извинить ей пространность цитат, — но такова уж особенность этой работы, требующей скрупулезной интерпретации текста. Тем более, что это слово было либо под запретом (Бухарин, Троцкий), либо игнорировалось (Ленин), либо до смерти надоело, вколачиваемое со школьных лет, — а главное — рутинно-привычное недоверие советского человека ко всему, что обязательно, не способствует внимательному чтению. Цель же автора — выяснить, не унесли ли с собой эти три крупнейшие личности русского коммунизма конструктивную альтернативу, требует прочтения их наследия свежим, "со стороны" взглядом.

Основной аспект этой книги — поиски хотя бы в основе мировоззрения Ленина, Бухарина и Троцкого модели того социального устройства, которое служило бы и интересам общества в целом, и каждого ее члена в отдельности.

Вокруг каждой из фигур трилогии — свой мифологический нимб. Но при определенных индивидуальных различиях в приписываемых им достоинствах ни одному из них не отказывают в общественно-созидательной одаренности, а также в благородном демократизме и подлинной интеллигентности.

Изучив политическую деятельность и личное поведение каждого в относительно спокойные периоды и в критических обстоятельствах, проштудировав их теоретические сочинения и стенограммы выступлений, деловые бумаги и личную переписку, автор книги постепенно раскрывает подлинный облик Ленина, Бухарина и Троцкого.

Она доказывает, что уверенность в созидательном гении Ленина возникла из реального знакомства с его талантом разрушения, а создавать и ломать — отнюдь не одно и то же.

Проясняются и основные методы ленинской тактики — демагогия и рассчитанный обман.



Гневные обличения Лениным бюрократизма при конкретном рассмотрении оказываются прикрытием его политики неуклонного и разнообразного насаждения этого же самого бюрократизма.

Репрессии в их специфически советском многообразии — с повсеместной практикой обысков и сыска, изъятием личной собственности (от золота до хлебного зерна), непрерывным ужесточением мер наказания — все это вводилось по прямым указаниям Ленина и им же закреплялось законодательным путем. Арсенал для массовых изъятий людей из жизни, которым с таким размахом воспользовался Сталин, по существу был заготовлен Лениным. Одно из основных орудий этого арсенала — роковая для миллионов людей статья 58-10-11, а также введение "экстренных мер" (то есть не предусмотренных действующим законодательством) были разработаны Лениным. При нем же стали проводиться "плановые" — заранее подготовленные с определенной политической заданностью — судебные процессы.

Тогда же укоренились в качестве главных приемов хозяйственного руководства всякого рода запреты, принуждения и насильственные меры.

Путем подробного анализа политической линии Ленина автор приходит к выводу, что единственная ее последовательность — в стремлении к единовластию партии, к ее диктатуре и колонизаторскому владению страной.

Устанавливая "общее" и "разное" в позициях Ленина, Бухарина и Троцкого, автор книги приходит к выводу: "Если Сталин является наследником ленинской цели — одолеть частно-собственническую стихию, не потеряв политической власти, то Бухарин оказывается наследником ленинской ошибки — надежды на целиком управляемый "капитализм", который можно, научась у него работать, одолеть в конкуретной борьбе" (286).

Несостоятельность попыток Бухарина сочетать партийную логику с экономическим здравым смыслом, связана с позицией, единой для всех представителей канонического большевизма: сохранение диктатуры партии при всех обстоятельствах.

У читателей, лелеющих в своем представлении образ Бухарина как человека высоко образованного, деликатного, уважительного по отношению к людям, может вызвать своего рода шок знакомство с его статьей "О мировой революции, нашей стране, культуре и прочем (ответ профессору И.Павлову) ". Напечатанная в 1924 году в популярном тогда журнале "Красная новь" в качестве комментария к неопубликованной (!) стенограмме лекции академика, статья Бухарина представляет собой чрезвычайно выразительный документ эпохи. Ведь именно тогда предоставилось любому "гегемону" право поучать любого ученого и всячески подчеркивать его гражданскую второсортность. Издевательский тон Бухарина, его демагогическая разухабистость, откровенная фальсификация и злобность, можно полагать, сыграли немалую роль (ведь Бухарин был тогда одним из ведущих руководителей "идеологического фронта") в установлении методов советской полемики.

Несовпадения укоренившихся представлений о лидерах российского большевизма с подлинными, а также сравнения их политической программы с той, которая была осуществлена — поразительны. Но и историческая действительность полна неожиданностей, для выяснения природы которых требуется такой точный исследовательский аппарат, который находится в распоряжении "лектора" Доры Штурман.

Случалось ли когда-либо в истории, чтобы общественное переустройство, проведенное в жизнь, так полно соответствовало программе политического деятеля, объявленного врагом и собственной программы, и страны, осуществившей ее? В книге "Мертвые хватают живых" не только раскрыта тайна этого парадокса, но и доказана его закономерность. История изгнания Троцкого, его преследования, шельмования и убийства предстает перед нами во всей своей трагической неотвратимости.

В книге доказано, что практическое воплощение программы Троцкого, так же как и ленинской, требовало того монолита жестокости, лживости и дьявольского чутья, который мог быть только у гения зла — и такой в России оказался.



Лишь ему дано было логически завершить развитие диктатуры партии, доведя ее до собственной самодержавной. Троцкий, как это выяснено автором, был тактически слабоват для полного достижения собственных целей. Там, где требовалось молчаливое проведение ряда акций, он их пропагандировал, выбалтывая таким образом то, что по логике большевистской тактики должно быть замаскировано демагогическими заклинаниями. Его недальновидная, почти инфантильная откровенность могла причинить партии большой урон, и понимания этого не было ему дано — самоуверенность и самодовольство его поразительны.

Политическая неуклюжесть Троцкого выразилась и в его "мономании" — так определяет автор его идею "перманентной революции", которую он бестактно провозглашал на протяжении всего своего земного пути. Задумывался ли кто-нибудь о том, что именно эта идея, трансформированная в названии и методах, активно проводится в жизнь органами советской власти? В книге рассказано об этом убедительно и увлекательно.

* * *

Что может быть сложнее, многограннее, противоречивее, чем человеческий характер? Что еще дает такой огромный материал для размышлений?

Толкование каждого поступка и каждого слова, оставшегося от своих героев, автор производит в сочетании с испытанием на их нравственную и интеллектуальную прочность, часто не скрывая своего недоумения или возмущения. Иногда — сочувствия. А за всей их индивидуальной несхожестью ищет ту особость, которая определила их путь:

"Интеллектуальная и моральная безответственность — это, пожалуй, главное качество всех троих..."

"Они никогда не сомневаются в себе: в своей способности вести, в своем праве выбирать за отдельных людей, за группы, за слои, за классы, за народы, за все человечество..."

"У моих персонажей есть и такое общее свойство, как удивительная слабость теоретической мысли".

"...Эти деятели ошеломительно активны".

Но — "Перед нами люди, а не только человекообразные генераторы идей, инструменты террора. Для них возможен барьер жестокости, лжи, беспринципности и т.д.", — потому они недостаточно надежны для вождей партократии.

Четвертый образ книги — "Кремлевский минотавр", "практический разработчик" учения. Литературно-исследовательской субординации здесь нет и не может быть, потому что у каждого действующего лица свое место, своя роль и репутация, и только образ Сталина навис надо всем зловещей тенью, и, как это ни парадоксально, эта тень помогает прояснению всего происшедшего.

...Три жизни — три катастрофы, три кошмара, различных по протяженности во времени, по нагнетанию ужаса. Естественное человеческое сочувствие автора осуждаемым ею личностям, понимание неизбежности их гибели придает повествованию особую философскую глубину и эмоциональную напряженность.

Движение сюжета приводит к уразумению и такого явления, как появление в обществе новых этических основ, и стихийно возникающих и насаждаемых планомерно. Главное тут — пренебрежение человеческой жизнью, ее обесцененность, враждебность по отношению к веками выработанным нормам нравственности, понятиям чести, гуманности, порядочности.

Автор предлагает сравнить гитлеровское: "Я освобождаю вас от химеры совести" с категорическим ленинским: "Мы в вечную нравственность не верим и обман всяких сказок о нравственности разоблачаем", и всей своей книгой доказывает, что именно этот принцип выдерживался свято. С новой моралью связаны и законы партократии — беспринципность и вероломство; кто владеет ими в наибольшей мере, тот и побеждает.

* * *

Перед тем как поделиться своим впечатлением еще от одного аспекта книги Доры Штурман, разрешу себе небольшое отступление.



В начале 50-х годов я познакомилась с людьми, выросшими в "буржуазной Эстонии". Я с удовольствием водила их в Москве на мои любимые спектакли и фильмы. Однажды оказалась возможность показать им старую, дорогую моему поколению ленту — "Путевку в жизнь". Но моих новых друзей этот фильм не только не пленил, но привел в ужас: в какой стране, при каком строе было бы возможно такое явление — массовое сиротство и беспризорничество? (Знали бы они еще, что на самом-то деле все это последствия не войны, а мероприятия "мирного" времени — коллективизации!) Так тридцать лет назад мне впервые представился случай задуматься о несовпадении подлинного содержания событий с нашими привычными представлениями о них.

Работа Доры Штурман возвращает понятиям их настоящее значение.

"Кто из нас пытался переосмыслить штампы: "классовая борьба", "уничтожение классов", "революционное насилие", "революционное право", "красный террор"?"

Штампы сказались и на восприятии явлений, перевернув их значение наоборот, — так достигли своей цели усилия по выработке ложной исторической памяти.

Понималось ли стремление Ленина отдать награбленный ("продразверсткой") хлеб "немецким товарищам" да еще предоставить им трехмиллионную армию одним из первых признаков колониальных завоеваний, прикрываемых альтруистическими воззваниями?

Многие ли задумывались над тем, что сталинскому определению человека как "винтика" государственной машины предшествовало ленинское "элемент"? ("Мы строим власть из элементов...")

Что капитализм, который надо использовать, гоняя "на длинной веревке", то есть прирученный советской властью и подчиненный ей — понятие в корне бессмысленное?

Что кронштадтское восстание было народным? И что Троцкий возглавил физическое уничтожение моряков?

Задумывались ли мы над смыслом словосочетания "аппарат власти"?

И еще над многими словами, формулами, заклинаниями?

В некоторых случаях автор предлагает свое толкование искаженного, в других нас подталкивает к прояснению истины логика изложения. Но чувство избавления от унижения (возникшего от того, что поддавались обману) сопровождает все чтение книги "Мертвые хватают живых".

В эмигрантской и политологической литературе лишь в последнее время поутихли темпераментные дискуссии по поводу выяснения, бедой или виной России (русского народа, русского характера) является катастрофа 1917 года и все за ней последующее. Дора Штурман не заявляет о своем интересе к этой проблеме, но из ее книги возникает убедительнейшая картина политического и психологического обезоруживания народа. Это трагическое явление включает в себя столько различных обстоятельств, столько пластов человеческого бытия и характера, что если его можно свести к одному слову, то только к этому, — "обезоруживание". И это слово с поразительным тактом найдено автором.

Решение проблемы "революция в России", как правило, откровенно эмоционально. Таково оно и у Доры Штурман, но, основанное на ее серьезном изучении, говорит оно не об осуждении или восхвалении русского народа, а о глубоком сочувствии ему.

Чтобы создать такое произведение, как "Мертвые хватают живых", надо не только пронести через всю жизнь интерес к теме, но и постоянно ощущать свою персональную ответственность перед людьми. И очень заботиться о них. "Мертвые хватают живых" — это не только книга исследователя — политолога, литератора, лектора. Это книга публициста-практика.

В некоторых случаях автор обращается к аудитории непосредственно. Призывает не забывать, что для врагов демократии правил игры не существует и к ним надо относиться "с профилактической осторожностью"; напоминает об обезоруживающей рефлексии либеральной интеллигенции и об агрессивности ее противников, настойчиво советует изучать психологию экстремистов и обстоятельства, способствующие ее возникновению; разъясняет, каковы современные методы



подкопа под свободный мир; протестует против терминологических замен и ухищрений, направленных на сохранение коммунистической идеи... И еще много советов и предупреждений, произнесенных искренне и взволнованно, содержится в этой книге.

Не прибегая для этого ни к каким видимым усилиям, Дора Штурман создала произведние стилистически яркое и современное. Каждый из героев повествования помещен в языковую среду, наиболее полно соответствующую его характерологическим особенностям. В одних пассажах больше иронии, иногда доходящей до сарказма, в некоторых превалирует недоумение, в других — возмущение, в четвертых — горестное сочувствие. Для всех оттенков в отношениях к лидерам коммунизма в России находятся точные, впечатляющие слова.

Дисциплина мысли и строгая логика изложения гармонируют в книге с эмоциональной напряженностью, доступность для самой широкой аудитории — с глубиной содержания и выразительными лексическими поворотами.

* * *

"Мы говорим — партия, — подразумеваем — Ленин. Говорим — Ленин, — подразумеваем — партия" (В.Маяковский).

"Подобному тому, — пишет Дора Штурман, — как многие личные свойства Ленина выросли в тактику его партии, так и игра без каких бы то ни было правил стала законом политической деятельности партий "нового типа", которые принято называть ленинскими".

Книгу "Мертвые хватают живых" должны прочесть во всем мире как можно больше людей.

И поскорее — пока не поздно.

*БИБЛИОТЕКА БЕСТСЕЛЛЕРОВ "ВРЕМЯ И МЫ"*

**Александр Орлов**
**ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ СТАЛИНСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

**Эта книга принадлежит одному из видных деятелей сталинского НКВД, но почти 30 лет она была неизвестна русскому читателю. Чудом уцелев, генерал Александр Орлов бежал в 1938 году в Соединенные Штаты и, оставаясь 15 лет неузнанным, прожил здесь до конца своих дней. Книга Орлова — это документальное свидетельство эпохи, раскрывающее самые глубокие тайны сталинской секретной полиции.**

**...КАК ГОТОВИЛОСЬ УБИЙСТВО КИРОВА...**
**...ВСТРЕЧА СТАЛИНА С НИКОЛАЕВЫМ...**
**...КАК БЫЛИ ВЫРВАНЫ ПРИЗНАНИЯ У ЗИНОВЬЕВА И КАМЕНЕВА...**
**...ИХ СДЕЛКА СО СТАЛИНЫМ В КРЕМЛЕ...**
**...ДОПРОСЫ И ПРИЗНАНИЯ ПЯТАКОВА, БУХАРИНА, РАДЕКА...**
**...ПОДРОБНОСТИ ГИБЕЛИ АЛЛИЛУЕВОЙ...**
**...ЯГОДА ПЕРЕД КАЗНЬЮ...**
**...ЕЖОВ, КАКИМ ОН БЫЛ...**
**...ЛИЧНЫЙ СЕКРЕТАРЬ СТАЛИНА ПАУКЕР ОБ УТЕХАХ ВОЖДЯ...**

**Таковы лишь штрихи, лишь отдельные эпизоды документальной эпопеи Александра Орлова.**

**По свидетельству специалистов, ни одна из изданных до сих пор книг о советской тайной полиции не может сравниться с книгой Александра Орлова как по документальной точности излагаемых фактов, так и по захватывающему интересу, который она вызывает у читателей. Тот, кто открыл первую страницу этой книги, уже не сможет закрыть ее, не дочитав до конца этот зловещий детектив сталинской инквизиции.**

*Книга Орлова (350 стр.) иллюстрирована редкими фотографиями 30-х годов. Цена книги — 15 долларов. Пересылка — 1 доллар.*

*Заказы и чеки посылайте по адресу:*
**Time and We**
**475 Fifth ave, room 511-A**
**New York, New York 10017**

*Джон БАРРОН*

# КГБ СЕГОДНЯ

*Главы из книги*

Задумав завербовать Кинга, Левченко тщательно изучал личность этого человека, чтобы "подобрать к нему ключик", и снова и снова повторял про себя советы, полученные в разведшколе от полковника, который приобрел в этом немалый опыт в Соединенных Штатах. Обсуждая со слушателями вопрос, каким образом люди становятся агентами чужой державы, полковник привел американскую формулу "MICE" Money, Ideology, Compromise, Ego, — то есть: деньги, идейные соображения, боязнь компрометации, самомнение (или, если угодно, комплекс неполноценности) . И добавил: обычно иностранца способно толкнуть к сотрудничеству с КГБ даже присутствие хотя бы одного из этих факторов, но в идеале лучше использовать все четыре.

Собранные резидентурой данные о Кинге содержали такую информацию: это — респектабельный интеллектуал, в прошлом имевший убеждения, близкие к коммунистическим, продолжающий и посейчас склоняться к марксистской идео-

---

Copyright, 1983 by The Reader's Digest Association, Inc.
This translation published by arrangement with Random House, Inc.

*Окончание. Начало в № 75.*

логии. Правда, это не обязательно говорило о его симпатиях Советскому Союзу. Подавляющее большинство японцев относятся к СССР отрицательно, а многие — настолько враждебно, что во время своих поездок по Японии Левченко предпочитал выдавать себя за американца или швейцарца. Японские марксисты часто рассматривают Советский Союз как изменника истинному марксизму, даже японская компартия занимает резко антисоветскую позицию.

Кинг получал прекрасное жалованье. У него были жена и двое детей. Он не страдал какими-либо бросавшимися в глаза недостатками или порочными наклонностями, опираясь на которые можно было бы его шантажировать. В распоряжении ГБ не было данных, что он отличается, скажем, чрезмерным самолюбием, или — что было бы еще лучше — честолюбием. Тем не менее, ища подход к этому человеку, Левченко пытался нащупать скрытые пружины его поведения, черты характера, которые позволили бы воздействовать на тот или иной из элементов, входящих в комплекс "MICE".

Руководствовался он и некоторыми общими принципами, которые сам вывел из анализа японской национальной культуры и психологии. Японцы работали очень напряженно, их день был нередко расписан по минутам, и они неодобрительно относились к любой непроизводительной потере времени. Исходя из этого, Левченко старался сделать любую встречу за обедом или ланчем приятной и запоминающейся для собеседника, уснащая беседу тонкой лестью и вводя в нее обрывки тех или иных деловых сообщений, которые Кинг мог счесть полезными для себя.

Используя прием, неоднократно проверенный и доказавший свою эффективность, Левченко как-то заметил: "Откровенно говоря, я хотел бы вам кое-что сообщить — при условии, что это останется между нами. Официально считается, что "Новое время" издается советскими "профсоюзами. Но на самом деле это орган министерства иностранных дел, причем он регулярно выпускает конфиденциальный бюллетень для узкого круга лиц, — настолько узкого, что этот бюллетень читают разве что только люди, близкие к Политбюро или непосредственно определяющие советскую политику. Поэтому я не могу позволить себе ошибаться: они должны знать реальные факты, независимо от того, приятны эти факты или нет. Вот почему я так ценю наши доверительные беседы. Ведь вы — признанный авторитет в международной политике". (Иными словами это означало: "Мистер Кинг, разговаривая со мной, вы разговариваете не с рядовым, обычным журналистом. В моем лице вы говорите с руководством Советского Союза и, возможно, в этот самый момент произносите нечто такое, что окажет влияние на дальнейшую политику этой державы!")



Руководствуясь донесениями агентов КГБ, уже внедренных в верхние слои социалистической партии Японии, Левченко задавал своему собеседнику вопросы, демонстрирующие поразительное знание обстановки, сложившейся внутри партии, и в японской политической жизни в целом.

Впрочем, иногда он специально преподносил своему собеседнику какой-нибудь факт в искаженном виде, заведомо ошибочно оценивал то или иное событие, давая Кингу возможность поправить его.

— Вы уверены, что это так? — спрашивал он, когда Кинг деликатно указывал на его ошибку. — Я получаю информацию из надежного источника...

Иногда, желая доказать свою правоту и продемонстрировать превосходство своих сведений и соображений, Кинг увлекался и сообщал такие вещи, которые были безусловно новы и поэтому представляли интерес для КГБ. В таких случаях Станиславу, действительно, оставалось только искренне благодарить Кинга за то, что тот рассеивает его заблуждения и предупреждает неправильную оценку им (а тем самым, надо понимать, и руководителями Советского Союза) тех или иных событий.

Демонстрируя доверие, Левченко время от времени информировал Кинга о некоторых неявных изменениях в советской политике или о внутренних проблемах Советского Союза, о которых со дня на день должна была сообщить — но пока еще не сообщила — "Правда". Эти маленькие откровения, ничего не стоившие Советам, делали Кинга на ближайшие

несколько дней более информированным — пусть по частным вопросам, — чем его окружение. Сверх того, раза два или три у Левченко появилась возможность поделиться с Кингом кое-какими секретами правящей в Японии Либерально-демократической партии. Этой информацией социалистическая партия, к которой принадлежал Кинг, могла при желании воспользоваться в пику своим соперникам.

Левченко понимал, что завоевать дружеское отношение любого японца очень непросто. Но зато когда это достигнуто, оказывается, что игра стоила свеч. Дело в том, что японцы смотрят на дружеские связи почти как на родственные, фамильные. И Станислав медленно, но верно добивался дружбы Кинга. Он старался создать у него представление о себе как о симпатичном чутком человеке, ничего общего не имеющем с расхожим образом твердолобого большевика. Он предпочитал скромные рестораны и заказывал, обедая с Кингом, непременно японские деликатесы, для многих иностранцев несъедобные да и просто вредные для желудка, например "аваби-но-кимо" — сырую печень какого-то морского чуда. Он никогда не позволял себе критиковать какие бы то ни было стороны японской действительности и не давал понять Кингу, что в той или иной мере соглашается с его собственными критическими высказываниями.

Их дружеские отношения, казалось бы, укрепились, — и в этот момент Левченко, то ли от чрезмерного доверия к своему партнеру, то ли по недостатку опыта, сделал неверный шаг. Как-то беседуя с Левченко о предстоящих в 1976 году выборах в парламент, Кинг обмолвился, что сложнее всего собрать достаточную сумму денег для подготовки победы. "Ну, так мы вам поможем, если разрешите, — отозвался Левченко. — Мой журнал располагает средствами для подобных случаев..."

Кинг буквально отшатнулся от Станислава, и его лицо мгновенно окаменело. "Нет, нет! — необычно резко запротестовал он. — Это было бы совсем недостойным делом". Тем не менее, их отношения оказались достаточно прочными, чтобы выдержать даже такой непростительный со стороны



Левченко промах, и, когда Станислав предложил встретиться на следующей неделе, чтобы, как обычно, пообедать вдвоем, Кинг не стал возражать.

Левченко заказал отдельную комнату в приличном ресторане. Под монотонный шум дождя за окнами они дружески беседовали о том, о сем часа три. Обед состоял из девяти блюд, сдобренных несколькими чашками подогретого сакэ. Кинг упомянул, между прочим, что уже довольно давно у него появилась мысль начать выпускать информационный бюллетень со статьями на разные политические темы. Такое издание могло бы способствовать упрочению единства социалистической партии.

— О, это великолепная идея! — откликнулся Левченко. — Отчего же вы ее до сих пор не осуществили?

Оказалось, дело опять упирается в деньги. У Кинга были кое-какие личные сбережения, но необходимо было наскрести еще по крайней мере миллион иен. Можно бы, конечно, собрать такую сумму, и довольно быстро, но это означало, что семья Кинга должна будет пожертвовать слишком многим.

Левченко с пониманием кивнул и тут же умышленно заговорил совсем о другом. Его беседы с Кингом чрезвычайно ценны с профессиональной, журналистской точки зрения, но еще больше он ценит завязавшуюся между ними сердечную дружбу. Будучи другом Кинга, он должен бы позаботиться о нем, — позаботиться вот в каком отношении:

— Я журналист, вы — известный политический деятель, — продолжал свою мысль Станислав. — Мы имеем полное право обмениваться мнениями по самым разным вопросам. Но служба контрразведки обычно относится к подобным вещам не в меру ревниво. Она следит за советскими людьми, подслушивает телефонные разговоры, — и все только потому, что речь идет о советских людях. Я эту службу не осуждаю — такова специфика их работы. К тому же некоторые мои соотечественники, быть может, действительно дали повод к слежке. Но в наше время власти в каждом иностранце готовы видеть шпиона. Мне-то как журналисту это почти безразлично, но не хотелось бы невольно причинить неприятности вам...

Он клонил к тому, чтобы оба они прекратили звонить друг другу, договариваясь о встречах. Порешили так: отныне при каждой встрече они будут договариваться о двух последующих, и если кто-нибудь из них пропустит очередное свидание, то следующее непременно должно состояться. Кинг согласился с таким порядком — и тем самым объективно вовлек себя в тайные, то есть скрываемые от властей, сношения с иностранцем.

Побудив Кинга сделать этот шаг, Левченко, тем не менее, испытал не гордость профессиональной удачей, а совсем иное чувство — скорее, некоторое отвращение к себе. Выходит, он становится таким же лицемерным и циничным, как и вся система, на которую он работает. Дружески протягивая руку этому японцу, он фактически охотится за его душой, преступая тем самым если не человеческий, то божеский закон. Но что ему остается делать, если он хочет уцелеть в этом КГБ?

Прошел месяц, и Левченко опять, как бы между прочим, спросил Кинга об информационном бюллетене:

— Ну как, что-нибудь прояснилось с деньгами?

— Нет, это, должно быть, дело безнадежное. Я, знаете ли, махнул на него рукой.

— Дорогой друг, — вкрадчиво начал Левченко, — я знаю, вы никогда не взяли бы у нас денег лично для себя, и эта ваша черта достойна всяческого уважения. Но, пожалуйста, разрешите мне как-нибудь помочь вам с вашим бюллетенем. Ведь это так важно для многих людей доброй воли...

— Спасибо, — нервно отозвался Кинг. — Но только не сейчас. Может быть, когда-нибудь после...

В резидентуре Левченко обсудил это предприятие с Пронниковым, и они вдвоем составили текст срочного запроса в Москву, одобренный Ерохиным: "Товарищ Кольцов уверен, что выплата одного миллиона иен даст возможность завербовать Кинга. Резидентура возражений не имеет".

"Центр" немедленно санкционировал этот расход.

Встретившись с Кингом в очередной раз, Левченко после нескольких порций виски прямо приступил к делу.

— Да, я почти позабыл... Как ваше давнее намерение? Что-нибудь уже сдвинулось с мертвой точки?



— Ну как же его сдвинешь...

— Так вот. Примите нашу братскую помощь. — Левченко выложил на стол пухлый желтый конверт с миллионом иен. Поколебавшись, Кинг сунул его во внутренний карман пиджака. Левченко с энтузиазмом разглагольствовал о перспективах, открывающихся перед будущим изданием, о возможности его превращения во влиятельный орган прессы...

— Да, кстати... Деньги эти, естественно, не мои. Мне предстоит за них отчитаться. Мне нужна ваша расписка, что ли, чтоб показать, что я их не присвоил, — ведь в жизни всякое бывает!

Мучительно покраснев, Кинг на обороте своей визитной карточки поспешно нацарапал расписку.

Спрятав ее в карман, Левченко поблагодарил и выразил надежду, что теперь они будут сотрудничать еще активнее и с большей пользой для обоих.

— Да, да, — пробормотал Кинг. — Я теперь ваш должник...

Это произошло в пятницу, а в понедельник Станислава разбудил необычно ранний телефонный звонок. Было шесть часов утра. Звонил Кинг, и от волнения его голос так дрожал, что Станислав не сразу разобрал, что он говорит.

— Нам надо срочно повидаться. Дело не терпит отлагательства!

Они встретились за ланчем.

— Вы выглядите совсем больным, — сочувственно заметил Левченко. — Что с вами случилось?

— Да нет, я не болен... Но я должен забрать у вас свою расписку. Вы понимаете, что она означает для меня?

— Ну, собственно... Она подтверждает, что деньги вы получили...

— Нет, вы не хотите понять. Это ведь документ, он может быть использован против меня... с целью меня скомпрометировать, подорвать мое положение в партии, испортить всю мою жизнь!

Левченко сделал вид, что раздумывает над услышанным, как будто ему до сих пор ничего подобного не приходило в голову.

— Я не думаю, что такое может случиться... Нет, что вы, этого наверняка не произойдет. Это совершенно исключено!

— Где сейчас эта расписка? В вашем посольстве?

— Она уже в Москве, в абсолютно надежном месте. Доставлена со специальным курьером и хранится в помещении, охраняемом круглые сутки. Никто, кроме меня и начальника нашей финансовой части, не имел к ней доступа... значит, никто не мог прочитать, что вы написали на обороте вашей визитной карточки.

Кинг сидел перед ним, ссутулясь. На него было жалко смотреть. Похоже, что эти доводы его не убедили.

Так же вкрадчиво и без нажима Левченко начал приучать Кинга к мысли, что теперь ему придется исполнять довольно щекотливые поручения. Для начала они неизменно облекались в форму вопроса или пожелания и выглядели, например, так: "Нельзя ли как-нибудь предупредить выдвижение этого коварного китайского агента делегатом на съезд Японской социалистической партии?" Следовало понимать, что Кинг должен употребить все свое влияние, чтобы подорвать репутацию такого-то деятеля собственной партии, известного КГБ своими прокитайскими настроениями. Следуя прямым указаниям Левченко, Кинг помог организовать так называемую "Мартовскую группу", которая способствовала внедрению в социалистическую партию прокоммунистически настроенных политиков. Сообщения Кинга о тенденциях, наметившихся в руководстве его партии, сообщения о внутренних конфликтах и оценки влиятельных партийных деятелей открыли перед КГБ дополнительные возможности вербовки. Информация, получаемая от него, проверялась путем сопоставления с сообщениями других агентов — и Кинг успешно выдержал такую проверку.

Анализ интенсивности радиопереговоров, подкрепленный наблюдениями сотрудников резидентуры, позволил прийти к выводу, что японские группы внешнего наблюдения, состоящие из работников контрразведки и политической полиции, обычно резко ослабляют свою активность по выходным и праздничным дням, а между одиннадцатью вечера и семью



часами утра вообще почти не появляются на улицах (по мнению КГБ, это объяснялось нежеланием начальства платить им сверхурочные).

Как-то в начале декабря Левченко подъехал к Кингу домой ранним утром, часов в шесть, будучи уверен, что в столь ранний час никто не станет за ним следить. Кинг, облаченный в кимоно, без лишних церемоний провел его на кухню, заварил чай.

— Дорогой друг, я привез вам три миллиона иен на вашу избирательную кампанию, — объявил Левченко. — Примите, пожалуйста, эту братскую помощь. Мы и в дальнейшем думаем вас поддерживать.

Кинг кротко пересчитал деньги и без всякого напоминания написал расписку. Приняв как должное этот неожиданный ранний визит и немалую сумму денег, он молчаливо поставил себя в положение исполнителя всех дальнейших указаний КГБ.

Тем же утром резидентура телеграфировала в "центр": "Во всех практических вопросах Кинг сейчас работает на нас, отчасти из идейных побуждений, но главным образом по соображениям материального порядка. Анализ его действий и полученной от него информации показывает, что он искренен и не является провокатором.

Изучение Кинга, проведенное с помощью других источников в социалистической партии Японии, подтверждает эту оценку. Ввиду изложенного резидентура считает, что Кинг может рассматриваться как доверенное лицо, и просит "центр" санкционировать его включение в состав постоянной агентурной сети резидентуры".

29 декабря 1975 года Москва ответила: "Центр" одобряет включение Кинга в состав постоянной агентурной сети токийской резидентуры в качестве доверенного лица. По решению руководства товарищу Кольцову присваивается звание капитана, и он назначается ответственным руководителем темы. Желаем тов.Кольцову дальнейших успехов в его благородной деятельности".

По предположениям КГБ, Кинг может рассчитывать на длительную политическую карьеру и в оптимальном случае

продержится в руководстве социалистической партии еще лет двадцать. Значит, имеет смысл делать ставку на "группу Кинга" — как на него самого, так и на его окружение. Умело направляемые, эти люди составят ядро, способное если не полностью держать партию в руках, то, во всяком случае, оказывать решающее влияние на ее политику, даже вопреки желанию большинства. Дело Кинга — увеличивать это ядро количественно и соответственно укреплять его. Повышая Левченко в звании и должности, КГБ дал понять, что он связывает с личностью Кинга далеко идущие планы.

Пронников первый поздравил Левченко. "Ну вот, я оказался прав, — заявил он. — Рад, что удалось тебе помочь. Я тебе доверил самостоятельное дело, и вот, пожалуйста, начальство тебя оценило. Будешь работать со мной — увидишь, как быстро продвинешься".

Коллеги предложили отметить приятное событие, спустившись в бар. "Может, отложим на завтра? — уклонился Левченко. — Мне предстоит вечером одно дело... Надо побывать в церкви, чтобы Господь меня просветил и наставил". Коллеги заулыбались. "Да нет, серьезно, — продолжал он. — Японцы говорят, что здешний православный собор — шедевр архитектуры. Я слышал к тому же, что служба идет на японском языке. И потом, знаете, японцы, наверное, меньше подозревают того, кого им случится увидеть в церкви".

Единственный в Токио православный собор, основанный еще в 1891 году, был открыт по субботам, воскресеньям и праздникам. В эти дни Станислав не раз приходил сюда, чтобы помолиться об отпущении грехов — он часто повторял про себя эту молитву с тех пор, как поступил работать в КГБ. На этот раз он помолился также о Кинге, умоляя Господа, чтобы Он избавил их обоих от служения злу, от которого они и сами не ведали, как освободиться.

Вскоре после Нового года резидентуру потрясло необычайное событие: слетел резидент. Падение генерал-майора Ерохина произошло мгновенно и оказалось неожиданным для всех, включая Пронникова. Причин, вызвавших такое событие, было несколько. Конечно, в первую очередь приложил к



нему руку сам Пронников, но роковым для генерал-майора оказалось его столкновение с подполковником Евстафьевым.

С того самого дня, как Ерохин прибыл в Токио, воодушевленный успехом, выпавшим на его долю в Индии, Пронников усмотрел в нем угрозу своему благополучию. Ведь если Ерохину в Токио станет везти так же, как в Нью-Дели, он, чего доброго, будет оставлен резидентом надолго, перекрывая Пронникову — старшему по возрасту — пути к дальнейшей карьере. Вот и пришлось предпринять некоторые действия, чтобы помешать этому, не нарываясь в то же время на неприятности.

Евстафьева Ерохин перетянул из Нью-Дели, пообещав ему повышение в звании до полковника. Однако сразу это сделать не удалось, и Пронников, пользуясь моментом, дал понять Евстафьеву, что в действительности резидент хлопочет о присвоении этого звания кому-то другому. Одновременно Пронников сообщил Ерохину, что Евстафьев "сильно обозлился" и допускает "клеветнические высказывания" об особе резидента. Так, сея слухи и искусно интригуя, Пронников восстановил этих двоих друг против друга. В конце концов он намекнул резиденту, что Евстафьев, не выдержав повседневного нервного напряжения, связанного с работой, "похоже, свихнулся".

То ли по наущению Пронникова, то ли по собственной инициативе Ерохин начал добиваться, чтобы "центр" отозвал Евстафьева, который-де не в своем уме. Это встревожило Москву; в Токио стало известно, что одному из офицеров резидентуры, проводившему отпуск на родине, в "центре" с полной серьезностью был задан такой вопрос: "Скажите, это правда, что товарища Евстафьева застали в тот момент, когда он стоял в углу своего кабинета и мочился прямо на пол?"

Разумеется, Пронников поспешил убедить Евстафьева, что Ерохин собирается насильно уложить его в госпиталь как психически больного. Ничего удивительного, что Евстафьев, будучи отозван в Москву, прямо из аэропорта отправился в госпиталь КГБ и настоял там на проведении всестороннего обследования психиатрами. В "центре" специальная комиссия, образованная для расследования его

дела, разговаривала с ним мягко и уклончиво, как принято говорить с ненормальными: "Мы знаем, вам пришлось вынести огромное напряжение... Такие перегрузки, конечно... Вы слишком переутомились на работе. Вам, безусловно, предоставят длительный отпуск, вы его более чем заслужили..."

В госпитале, однако, Евстафьеву удалось получить на руки врачебное заключение, удостоверявшее, что он вполне здоров, и, заручившись этим документом, он тут же принялся разоблачать "ерохинский заговор", направленный против него. Партийная комиссия допросила всех оказавшихся под рукой офицеров, работавших в Токио за последние два года, — все они заявили, что не замечали за Евстафьевым ни малейших проявлений ненормальности.

Пронников, который на время, пока шло расследование, был назначен исполняющим обязанности резидента, прислал длинное обстоятельное донесение, восхваляющее обоих — Ерохина и Евстафьева — как отличных работников. Он выражал сожаление по поводу "конфликта между ними на личной почве", одновременно становясь на сторону Евстафьева: "К сожалению, генерал-майор Ерохин оказался в данном случае, на мой взгляд, неправ".

Сам Ерохин, представший перед партийной комиссией, которая предъявила ему обвинение в "травле" подчиненного, поначалу вел себя вызывающе, крича: "Подите к черту! Да залепитесь вы все с вашим Евстафьевым!" Однако опровергнуть обвинений он не смог и к концу разбирательства совсем пал духом и разразился плачем, как обиженный ребенок. Чтобы замять скандал, его не уволили из системы КГБ вовсе, а перебросили, как в ссылку, в Управление погранвойск.*

Хотя Левченко считал Ерохина надменным и грубоватым, его устранение было явной несправедливостью. Не

*Насколько известно, Ерохин вышел на пенсию в 1977 году в возрасте 45-ти лет, по состоянию здоровья.



сдержавшись, Станислав позволил себе осудить поведение Пронникова во всей этой истории в присутствии нескольких сотрудников.

— Пронников — настоящая змея, — неосторожно сказал он. — Чем скорее его заберут в Москву на повышение, тем чище тут будет воздух!

На следующее же утро, когда Левченко шел по коридору резидентуры, его окликнул Пронников: "Зайдите ко мне!" Закрыв дверь кабинета, Пронников уселся за стол, подчеркнуто оставив Левченко стоять.

— Я надеялся, что мы в самом деле станем друзьями, — начал он. — Я делал все, чтобы вам помочь — и здесь, в резидентуре, и в ПГУ.* Теперь я вижу, что вы человек неблагодарный. Больше того: бессовестный и ненадежный.

— Что вы имеете в виду?

Пронников грязно выругался.

— Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду. Ты меня недооценил. Болтаешь слишком много, а люди мне все рассказывают. Мне положено знать все, что тут происходит, раз я здесь начальник.

— Выходит, в резидентуре вы держите тайных осведомителей?

— Это не твоего ума дело. Но мне все известно. И то, что ты вчера наболтал обо мне... я никогда тебе этого не прощу. Теперь берегись, если хочешь остаться цел!

Через несколько недель, на протяжении которых они как могли избегали друг друга, Пронников был отозван в Москву и назначен заместителем начальника Седьмого отдела, отвечающего за Японию. Левченко уклонился от участия в прощальном ужине, устроенном отъезжающим для сотрудников.

Пока КГБ искал преемника Ерохину, обязанности резидента исполнял Крармий Константинович Севастьянов, занявший штатную должность Пронникова. Он просил сотрудников называть его Романом Константиновичем вместо того, чтобы

*Первое главное управление.

употреблять комичное и труднопроизносимое настоящее имя, данное ему родителями в честь Красной армии. Долговязый, нескладный, с вечно желтыми от сигарет кончиками пальцев, он обладал весьма заурядной, незапоминающейся внешностью, говорил медленно и вяло и вообще был мало похож на сотрудника "органов". При всем том это был один из самых сведущих специалистов по Японии. Он проработал здесь три обычных срока и мог во всех деталях вспомнить операции, проводившиеся 20 лет назад.

Жена Севастьянова вскоре подружилась с Наташей, и в известной мере благодаря этому обстоятельству Станислав и Крармий тоже стали друзьями.

Левченко увидел, что Крармий — по сути дела, честнейший малый, махнувший рукой на советскую систему, которую он презирал, но был бессилен хоть что-то изменить. Он дотягивал в Токио свой четвертый срок, последний перед уходом в отставку, и, пожалуй, ничего так не хотел, как только бы закончить службу без неприятностей. Поэтому он на каждом шагу перестраховывался и ко всему был инертен.

Севастьянов познакомил Станислава с разработкой резидентуры, относящейся к одному из самых многообещающих потенциальных агентов. Это был "Томас", ведущий корреспондент газеты "Иомиури", самой крупной в стране, с тиражом 8,7 миллиона экземпляров. Удачливый автор нескольких популярных книг и солидный политический комментатор, Томас пользовался доверием в правительственных кругах и лично знал нескольких бывших премьеров. Для него не было секретом, кто в правительстве склонен к коррупции и кто — неподкупен.

Левченко понял, что Томас был бы бесценным приобретением как проводник советского влияния в Японии. Он мог бы стряпать не только статьи, предназначенные для опубликования в "Иомиури", но и истории совсем другого рода — с недомолвками и умолчаниями. Известно ведь, что восприятие мировых событий общественностью формируется не только тем, что печатается в газетах, но и главным образом тем, о чем пресса умалчивает. Этот человек может консультировать



советское правительство по поводу истинных настроений, склонностей и амбиций японских лидеров, что позволит КГБ играть на самых сокровенных чертах их характера. Пройдут годы — и настанет момент, когда понадобится направить в нужную сторону мысли премьер-министра, министра иностранных дел, влиятельных политических лидеров, должным образом повлиять на их решения, — точь-в-точь, как это делал в 1941 году Рихард Зорге, — вот тогда и пригодится дальновидная и рассчитанная на многолетнюю перспективу работа КГБ с Томасом.

Правда, за 18 месяцев контактов с этим человеком КГБ не обнаружил никаких признаков, вселяющих надежду на то, что Томаса удастся превратить в советского агента. Человек высокообразованный, с широким кругозором, объездивший весь мир, он оказался таким же консервативным по убеждениям, как и его газета. Он высмеивал коммунизм как устаревшую политическую философию, которая дискредитировала себя повсюду, где бы ни пытались применять ее на практике.

В личной жизни Томас был образцом добропорядочности. Он был безраздельно предан жене, привлекательной и интеллигентной женщине, своим детям, дому и любимому садовому участку. Вместе с тем его заработок в газете, доходы от книг, консультаций и лекций позволяли ему жить безбедно. Раз или два в месяц Томас соглашался пообедать с капитаном Беловым, который считался представителем "Международной книги" и пытался "подобрать ключи" к японским журналистам, писателям и издателям. Из разговоров с Беловым Левченко вынес впечатление, что Томас встречается с ним лишь по таким двум причинам: во-первых, потому, что вообще интересуется иностранцами, во-вторых, — желая показать, что советских он не опасается. Напрашивался вывод: если не удастся сыграть на каких-то пока еще невыясненных слабостях и минусах Томаса, которые бы позволили его шантажировать и в конечном счете завербовать, — тогда не останется ничего другого, как завязать с ним "личную дружбу". Попытаться залезть ему в душу...

При первой же встрече, едва Белов представил Станислава, тот произвел впечатление на Томаса своими основательными знаниями в области японской истории, литературы и политики. Томас признался, что ему доставляет удовольствие беседовать с иностранцем на родном языке, — по-английски он говорит с трудом и вынужден больше слушать. Чтобы поднять в его глазах свой журналистский престиж, Левченко вручил ему копии собственных статей, опубликованных в англоязычном издании "Нового времени". Томас, разумеется, обещал их прочесть.

Возвращая при следующем свидании эти статьи, Томас заметил:

— Знаете, мне нравится ваш стиль. Но, простите, содержание статей выглядит несколько странным...

— Ну конечно же, это чистая пропаганда. Увы, приходится писать именно так. Но я-то по крайней мере сознаю, что это чушь. А ведь основная масса журналистов пишет ерунду, даже не отдавая себе в этом отчета, не правда ли?

— Верно, верно! — рассмеялся Томас.

Очень вежливо и тонко Томас, однако, заметил, что ему претят репрессии, применяемые в СССР к инакомыслящим.

— Боюсь, вы правы. В этих историях с диссидентами есть доля истины, — дипломатично заметил Левченко. — Но ведь все приходится оценивать в сравнении, в исторической перспективе. Посмотрите, как далеко мы ушли от сталинских порядков!

Оглянувшись кругом и понизив голос, он добавил:

— Конечно, нельзя отрицать, что надо бы отойти от тех порядков еще намного дальше!..

Они позлословили насчет нового советского посла в Японии — Дмитрия Полянского, которого выперли из Политбюро и отправили сюда в ссылку.* Полянский выглядел, одевался и вел себя как дремучий провинциал. Нужно было видеть, как он вышагивает, по-бычьи нагнув голову, сцепив руки за спиной или, наоборот, держа ладони у груди, словно собираясь молиться или умывать лицо. На дипломатических встречах, он смотрел на собеседников, постоянно осклабившись. Эта усмешка могла ввести в заблуждение: то ли она принадлежала человеку всеведущему и потому смотрящему на всех с неким сарказмом, то ли — умственно отсталому. Он развлекал японцев длинными газетными тирадами о советском сельском хозяйстве или же детски наивными вопросами: например, как это им удается получать так много мяса и молока с такой маленькой площади.

*На заседании Политбюро Брежнев предложил объединить две главные должности советского государства — пост генерального секретаря ЦК КПСС и пост председателя Президиума Верховного Совета, поскольку он претендовал сразу на обе эти должности. Подгорный, не желая расставаться с постом председателя Президиума, голосовал против такого предложения. Так же поступил и Шелепин, вообще всегда голосовавший против брежневских предложений, независимо от их сути. Остальные поддержали Брежнева... кроме, впрочем, Полянского, который поступил вовсе по-дурацки — воздержался при голосовании, дав тем самым Брежневу повод услать его с глаз долой.



С того дня, как Левченко познакомился с Томасом, прошло месяца три. Как-то к концу обеда, проведенного вдвоем, Левченко заказал бутылку французского коньяка, и Томас, придя в хорошее настроение, налил себе одну, а затем и вторую рюмку.

— Откровенно говоря, русские мне всегда казались изрядными грубиянами, — заметил он. — Но вы — культурный человек, и мне бы хотелось, чтобы мы стали друзьями...

— Я — русский, вы — японец, — отозвался Левченко. — Но в первую очередь мы оба — люди. Мы, конечно же, друзья!

Обхаживая Томаса, Станислав нащупывал в нем черты, которые позволили бы уверенно применить к нему все ту же универсальную формулу "MICE". Томас был гурманом, неравнодушным к шикарным ресторанам. Он всегда был безупречно одет, носил дорогие, сшитые на заказ костюмы, шелковые сорочки, изысканные галстуки. По некоторым его репликам можно было догадаться, что его жену тоже отличает

тонкий вкус. Фотография дома Томаса, доставленная агентом резидентуры, вполне соответствовала общему впечатлению от этого человека: содержание такого дома должно было обходиться недешево. Станислав решил, что если предложить Томасу дополнительный источник доходов, тому трудно будет удержаться от соблазна.

С другой стороны, Левченко казалось, что Томаса едва ли удовлетворяет его роль политического обозревателя. Ему бы хотелось, наверное, добиться такого положения, когда бы выражаемые им идеи и мнения реально влияли на ход событий. Итак, резюмировал Станислав, надо сделать ставку сразу на "М" и "Е", то есть деньги плюс самоутверждение.

— Этой ночью мне пришло в голову: каким же я был слепцом и каким нечутким человеком, — начал он. — Дело в том, что "Новое время" регулярно издает конфиденциальный обзор событий, с которым во всей Москве знакомится не более двухсот человек. Но если расценивать эту малочисленную группу с точки зрения ее влияния на мировые события, то вряд ли кто-то способен с ней соперничать! В любом крупном государстве, даже в Соединенных Штатах, "Новое время" приглашает сотрудничать наиболее выдающихся журналистов. А здесь, в Японии, мне просто повезло: я познакомился и подружился с самым выдающимся аналитиком японской политической жизни, но мне до сих пор не приходила в голову такая очевидная мысль... почему бы вам, господин Томас, не начать писать в "Новое время"? Разумеется, журнал будет платить гонорар, исходя из ставок, принятых здесь, в Японии. То есть, — подчеркнул Левченко, — по тысяче иен за страницу.

— О чем же вы хотите, чтобы я написал? — спросил Томас.

— Да, Бог мой, берите любые темы! Вы же знаете о японской политической жизни несравненно больше моего. В основном, конечно, желательно, чтобы вы писали о том, что, по вашему мнению, необходимо знать руководителям Советского Союза.

Это вовсе не выглядело предложением раскрывать японские правительственные секреты или пойти на нарушение законов, действующих в стране. Все, что говорил Левченко, не выходило за пределы разумных журналистских интересов, — и Томас принял предложение.



Первый же представленный им материал ясно показал КГБ, что деньги интересуют Томаса даже больше, чем возможность "раскрывать глаза" Кремлю. Он вручил Станиславу скорее не статью, а пухлое пятидесятистраничное сочинение с массой водянистых рассуждений, многословных отступлений от основной темы и совершенно ненужных экскурсов в историю, — во всем этом проглядывало стремление автора получить возможно больший гонорар.

После того как Томас написал три или четыре таких "статьи", Левченко вынужден был сказать ему, что "Новое время" сократило объем своего бюллетеня, предназначенного для московской правящей верхушки.

— Отныне мы нуждаемся в сжатых, трех-четырехстраничных обзорах, насыщенных фактами. Тем не менее во имя сохранения наиболее ценных наших авторов, редакция поручила сообщить им, что гонорары останутся на прежнем уровне.

На этот раз Томас представил долгожданную "конфетку". В его статье было прямо сказано, что японский премьер-министр сознательно поощряет критику своих действий справа, со стороны консервативных кругов. И делает он это для того, чтобы предупредить или нейтрализовать нападки со стороны либералов, которые обвиняют премьера в том, что он оттягивает заключение соглашения с Китаем. Левченко объявил, что ему приказано заплатить за эту статью 60 тысяч иен:

— Они считают, что ваша последняя статья представляет очень значительный интерес, — сообщил он.

В дальнейшем Томас все более откровенно выбалтывал государственные секреты, и гонорар, получаемый им от КГБ, начал составлять около 500 долларов в месяц — не ахти сколько, однако это означало примерно пятнадцатипроцентную добавку к его доходам. Причем за нее он не отчитывался ни перед налоговым управлением, ни перед собственной женой. К тому же КГБ хорошо знал, что Томасу, уже привыкшему к этим легко достающимся деньгам, в случае чего будет не так-то легко отказаться от них.

Сославшись на чрезмерную подозрительность и пронырливость японской контрразведки, Левченко убедил Томаса, что им надо встречаться тайно, — точно так же, как он сумел внушить это Кингу. Дважды он нарочно пропустил назначенное Томасу свидание, чтобы тот лучше осознал необходимость конспирации.

— Прошу прощения, — сконфуженно объяснял Станислав при ближайшей встрече, — но я заметил какую-то подозрительную машину, следовавшую за мной, и не захотел подвергать вас напрасному риску.

Эта перестраховка и условный язык, которым им отныне приходилось пользоваться, назначая свидания по телефону, несколько даже развлекали Томаса. Он с удовольствием включился в игру.

— Чем вы думаете заняться сегодня после обеда? — спросил его как-то Левченко.

— Да я пригласил на чашку чая одного профессора... Заодно потолкуем с ним о Полинезии...

— А вы не собираетесь заглянуть по дороге в свой служебный кабинет?

— Вроде бы не собирался. А в чем дело, собственно?

— Видите ли... У меня с собой несколько денежных документов. Если кто-нибудь о них узнает, будет скандал. Я их получил, когда уже отправлялся на встречу с вами, и не смог забросить в посольство. Вот я и подумал: может быть, вы согласитесь подержать эти бумаги у себя до понедельника?

— Я ничего не имею против, но только не смогу вернуть их вам в понедельник. Меня не будет в городе. Если можно во вторник — тогда другое дело.

— Отлично. Давайте пообедаем вместе во вторник вечером!

Конверт с документами перешел к Томасу. Во вторник, получив его обратно, Левченко отправился в резидентуру, где, несмотря на поздний час, его дожидался офицер из отдела технических операций. Обследовав конверт с помощью специальной оптики, он заявил:

— Нет, могу поручиться, что его не вскрывали.

Вскоре Левченко подверг Томаса еще одному испытанию.



Японская контрразведка арестовала майора ГРУ Александра Мачехина, за несколько минут до того, как он получил рулончик микропленки от мичмана американского военно-морского флота. Мачехину удалось выбросить пленку, но он вступил в драку с задержавшим его полицейским и угодил за решетку. Как корреспондент агентства печати "Новости", дипломатическим иммунитетом он не пользовался, и отправить его за решетку, японский суд мог на довольно длительный срок. Левченко поинтересовался у Томаса, не может ли тот через свою газету как-нибудь повлиять на общественное мнение, чтобы спасти Мачехина от тюрьмы.

— Это очень трудно, — ответил Томас. — Все основные газеты Японии, в том числе и моя, занимают жесткую антисоветсткую позицию. Сейчас просто невозможно напечатать статью, благоприятную для Советского Союза.

— Да, конечно... — согласился Левченко. — Ну, а что если, допустим, первая половина статьи будет антисоветской, скажем будет подчеркнуто, что Советы широко практикуют шпионаж тут, на территории Японии. А вот во второй части — обратить внимание на некоторые неясности в этом деле... Что, если все это — провокация, подстроенная американской военно-морской разведкой? Куда подевался этот самый мичман? Если это действительно шпионская афера, почему же он не был арестован, — ведь он-то и есть настоящий шпион! И еще: оправдались ли слухи, что Мачехина подвергали пыткам? Что же, это постоянная практика японской полиции — вечно подыгрывать американцам и выгораживать их? Разве Япония что-то выиграет, если ввяжется в еще один серьезный конфликт с Советским Союзом, когда отношения между обоими государствами и без того до крайности натянуты?

Подумав, Томас сказал:

— Я знаю одного молодого репортера, очень способного. Ему по душе разные сенсации. Я введу его в курс дела и дам понять, что ряд известных журналистов уже ломают голову над этими загадками. Может быть, он и согласится написать такую статью...

После того как токийские газеты поместили несколько статей, где поднимались эти инспирированные КГБ вопросы,

а, кроме того, на японцев был оказан нажим через дипломатические каналы, Мачехину позволили без излишней огласки покинуть Японию.

По тому, как Томас отзывается на просьбы Москвы, Левченко решил: должно быть, он уже понял, что имеет дело с советской разведкой. Это предположение перешло в уверенность, когда Томас попросил Станислава о внеочередной встрече и, страшно волнуясь, рассказал о назревшем скандале. Правительство Соединенных Штатов, по его словам, дознало, что самолетостроительная корпорация "Локхид" платит огромные взятки японским руководящим деятелям.

— Американцы так глупы и так наивны, — объяснял Томас, — что хотят предать все это дело огласке и погубить своих лучших друзей в Японии!

— А как японцы узнали об этой истории? — спросил Левченко.

— Через одного еврея...

— Какого еще еврея? Насколько мне известно, в Японии нет евреев!

— Речь идет об американском еврее. Я не знаю его имени, знаю только, что он работает на японскую разведку и разузнал все это в Вашингтоне.

— Ну, и как вы поступите с этой сенсацией?

— Никак. Это слишком опасное дело. Один из моих друзей работал над историей вроде этой, и его выбросили из окна небоскреба, имитируя самоубийство... — Помолчав, Томас взглянул Станиславу прямо в глаза. — Я подумал, может быть, ваши руководители в Москве захотят узнать об этом раньше, чем будет знать весь мир.

Севастьянов нашел сообщение Томаса слишком сенсационным, чтобы ему можно было верить. И поскольку подтверждений из других источников не поступило, он отказался передать его в "центр".

— Послушай, Станислав, — сказал он. — Ты мне нравишься, в тебе есть жилка разведчика. Но ты — прямо какой-то Джеймс Бонд, авантюрист! Ты погоришь на этом, да и все мы погорим. Так что лучше выкинь из головы эту нелепую историю, — она годится разве что для шпионского фильма!



Левченко интуитивно чувствовал: Томас знает что говорит. Им представилась возможность первым потрясти мир сенсацией, огласив свидетельство далеко зашедшего разложения капиталистического мира, — а они этой возможностью пренебрегают! И он невольно спрашивал себя: как можно упускать подобный случай? Во имя чего мы тут выбиваемся из сил, губим себя и других?

Прошло чуть больше месяца, и корпорация "Локхид" оказалась в центре разразившегося публичного скандала, подорвавшего Либерально-демократическую партию Японии.

— Да, — со вздохом признал Севастьянов, — все оказалось правдой. Иногда мы не доверяем своим агентам — и даем маху. Пусть это станет нам уроком на будущее...

Он дал согласие, чтобы Левченко ходатайствовал о формальной вербовке Томаса перед новым резидентом, полковником Олегом Гурьяновым.

Гурьянов был назначен в Токио по рекомендации Седьмого управления. До того он занимал пост резидента в Нидерландах, затем в Гаване, где помогал организовывать кубинскую разведывательную службу. Это был человек с ясными голубыми глазами и редеющими рыжеватыми волосами. Ему было лет сорок, и он начинал уже полнеть. Гурьянов страдал сильной гипертонией и время от времени, страдальчески морща всегда усталое лицо, прижимал руку к груди, как бы надеясь, что этот жест утихомирит боль.

В первый же день он собрал в своем кабинете всех сотрудников резидентуры. Прямо не упоминая о недавних склоках, новый резидент заявил, что не потерпит "интриг и травли" в коллективе:

— Либо научимся дружно работать тут, в Токио, либо отправимся домой. Я надеюсь, мы все будем друзьями. Что каждый из нас думает о другом как о человеке, не суть важно. О нас будут судить по нашей работе. Я бы не хотел, чтобы со мной соглашались только ради того, чтобы не перечить начальству. Если вы с чем-то не согласны, если считаете, что можете предложить что-то лучшее, сразу сообщайте мне. Я рассчитываю впредь находиться в своем кабинете с 9 утра до

8 или 9 вечера. В остальное время меня можно будет застать дома или на теннисном корте. Так что я всегда буду в пределах досягаемости, — это на случай, если у вас возникнут какие-то серьезные проблемы. Текущие вопросы решайте сами, а если чувствуете, что самим не управиться, обращайтесь к непосредственному начальству или руководству линии ПР.

Приблизительно через две недели после того, как Левченко подал рапорт о формальном включении Томаса в состав агентов резидентуры, Гурьянов вызвал его именно по этому вопросу.

— Новости неважные, — объявил он. — Прочтите внимательно, только не принимайте близко к сердцу.

Поступивший из "центра" ответ на 36-ти страницах, по мнению ветеранов резидентуры, был беспрецедентен по размерам, по тону и по какой-то личной озлобленности, сквозившей в каждой строке. "Надежность Томаса не обоснована в достаточной степени... Материалы, исходящие от Томаса, изобилуют противоречиями и отдают фальшью... Кольцов потратил слишком много времени и денег, угощая Томаса обедами и вином и не забывая при этом себя... Томаса нельзя отнести к прогрессивным элементам, его взгляды насквозь консервативны... Томас не вызывает доверия. Зачисление его в состав постоянной агентуры представляется нецелесообразным".

Начальник "линии КР", читая эту бумагу, заявил, что в жизни не доводилось ему видеть такого количества гадостей, собранных в одном документе.

— Это уж точно! — откликнулся Гурьянов. — Но мы еще отыграемся. Будет и на нашей улице праздник.

Такой праздник настал в связи с приездом в Токио генерал-майора Попова, заместителя начальника Первого главного управления. Попов не раз встречал Левченко в "центре"; теперь он захотел повидаться с ним в резидентуре. Левченко показал ему ответ "центра" по делу Томаса вместе с заключением, почти одновременно полученным из Москвы Гурьяновым. В заключении говорилось, что приблизительно 50 процентов информации, полученной от Томаса, ввиду ее важности "было доведено непосредственно до сведения членов Политбюро".

Попов побледнел.



— Сейчас я припоминаю... Мне эту бумагу подсунул Пронников. Дело было поздно вечером, а я в тот день так вымотался, что завизировал всю эту писанину, не читая. Конечно, если бы прочел, не видеть бы ему моей визы... Можете на меня положиться, я все устрою.

Не прошло и двух суток после возвращения Попова в Москву, как из "центра" пришло сообщение: "Руководство одобряет вербовку Томаса и его включение в сеть резидентуры в качестве лица, заслуживающего доверия".

Но тут случились новые события. Днем 6 сентября 1976 года старший лейтенант Виктор Беленко привел на аэродром гражданской авиации на острове Хоккайдо новейший советский истребитель-перехватчик МИГ-25. Это из ряда вон выходящее сообщение вызвало замешательство в Москве и настоящее столпотворение в токийской резидентуре. "Центр" разразился панической радиограммой, предписывая руководству резидентуры выяснить, что заставило пилота перелететь к японцам, какие секреты он успел им выдать и как японцы намерены поступить со сверхсекретным самолетом, неожиданно попавшим в их руки. Радиограмма заканчивалась такими словами: "Самое важное — получить информацию о двух совсекретных единицах электронного оборудования самолета. Первое: система опознания "друг или враг", позволяющая идентифицировать свои и вражеские самолеты. Второе: система создания противорадарных помех. Оба устройства снабжены тумблерами аварийного уничтожения путем взрыва. Установите, уничтожены ли они летчиком".

Уже на следующий день резидентура смогла ответить: "Совсекретные устройства остались неповрежденными и сейчас изучаются американскими специалистами".

По этому поводу Севастьянов заметил:

— Конечно, они и не подумают вернуть самолет, пока все там не обнюхают до последнего винтика. Срать они на нас хотели с высокого дерева.

Из Москвы прилетел специальный курьер с письмом, состряпанным КГБ от имени жены Беленко. К письму были приложены фотографии: жена изменника и его трехлетний

сын. Письмо содержало слезливую мольбу: пусть Беленко возвращается домой, где семья погружена без него в безутешное горе.

— Любым путем, — приказал Станиславу Севастьянов, — добейтесь, чтобы это письмо в течение суток смогло появиться в западных газетах.

По линии прессы Левченко привелось несколько раз встречаться с молодым американцем, который работал на токийское бюро Ассошиэйтед Пресс — пока что в качестве стрингера (внештатного репортера), но упорно стремился пробиться в штатные сотрудники. Станислав тут же позвонил ему:

— У меня есть для вас материал... да, пожалуй, сенсационный.

В кафе возле дома он показал американцу письмо и фотоснимки.

— Как это все попало к вам? — спросил тот.

— Мы с вами оба журналисты... Я ведь не интересуюсь вашими источниками информации, не так ли?

Левченко переводил письмо строчка за строчкой, и стрингер записывал перевод в блокнот. Но, кончив писать, он неожиданно заявил, что весь этот текст — "просто куча дерьма".

— Ну, что ж, возможно, — согласился Левченко. — Но это — не просто дерьмо, как вы изволили выразиться. Это — сенсационное дерьмо. Учтите, насколько я знаю, только мы с вами располагаем этим материалом. Вашему агентству он наверняка покажется интересным.

На следующий день газеты Японии и Соединенных Штатов опубликовали сообщение Ассошиэйтед Пресс из Токио, в котором подчеркивалось, что письмо, "по-видимому, написано женой Беленко и что оно поступило из советских источников". В сообщении излагалось содержание письма и приводились фразы, которые должны были, свидетельствовать о том, что молодая женщина вне себя от отчаяния: "Лапушка, дорогой, я знаю, что с тобой случилось. Я все время плачу, и, видя это, наш сын плачет тоже. Он то и дело спрашивает меня: "Когда же папа вернется со своих полетов?" Не могу поверить, что у тебя не хватит силы воли вернуться домой, к нам. Не верю, что ты дашь людям основание считать нас женой и сыном предателя. Умоляю тебя, приложи все силы, чтобы к нам вернуться... Не верь никаким их обещаниям. Ты им нужен только, пока ты рассказываешь им то, что они хотят разузнать. Я уверена, что наше правительство тебя простит, даже если ты натворил там ошибок. Обнимаем тебя и целуем. Твои Дима и Люда".



Без всякого сомнения, многие читатели газет сочувствовали бедной женщине, бездушно брошенной старшим лейтенантом Беленко на произвол судьбы. Никто из них не знал и не мог знать, что Люда Беленко давно уже ненавидела военную службу мужа, обрекавшую всю семью на невероятные жизненные тяготы, и объявила ему, что решила с ним развестись. Она уедет к своим родителям, заберет с собой сына и навеки вычеркнет из памяти этот проклятый Дальний Восток, где им пришлось жить в авиагородке в глуши, отрезанными от всего мира.

С помощью этой фальшивки КГБ рассчитывал усилить давление советского руководства на японцев и побудить их выдать Беленко. Но после того как летчик категорически отказался разговаривать с офицером из резидентуры, домогавшимся встречи с ним, японцы дали разрешение на выезд Беленко в Соединенные Штаты, о чем он просил с самого начала. Политбюро не оставалось ничего другого, как мобилизовать все возможности КГБ и министерства иностранных дел, для того чтобы американцы не получили доступа к самолету МИГ-25. В срочной телеграмме из Москвы резидентуре предписывалось:

"Немедленно предпринять активные действия в полном объеме и всеми доступными средствами, чтобы довести до сведения японцев следующее. 1. Япония играет с огнем. Вся совокупность отношений между Японией и СССР в результате этого инцидента может оказаться пересмотренной, отчего Япония сильно проиграет. 2. Соединенные Штаты Америки используют Японию в качестве проститутки. Американцы распоряжаются на японской территории, как у себя дома. Они не

заботятся о национальных интересах Японии и навлекают на эту страну несчастье. 3. Американцы грубо попирают все международные правила, относящиеся к вынужденной посадке самолетов на иностранной территории.

При осуществлении всех активных действий необходимо создавать впечатление, что выражаемое недовольство исходит от самого японского народа".

Сотрудники резидентуры разъехались по всему Токио, требуя от агентов и всех своих подручных, имеющих доступ к прессе или парламенту, чтобы те срочно распространили "в народе" эти московские тезисы. Виднейший проводник советского влияния — Хирохиде Исида — лично посетил самого премьера, несколько министров и своих коллег по парламенту, пытаясь убедить их, что японцы должны немедленно вернуть злополучный МИГ-25 и что они не имеют права исследовать его конструкцию.*

Эти ухищрения КГБ оказались, впрочем, в значительной мере напрасными. Игру сильно подпортил посол Полянский. Обивая пороги японского министерства иностранных дел, он обрушил на японцев угрозы, которые были расценены ими как "беспредецентные в истории дипломатии". Советская печать и ТАСС обвиняли японцев в том, что они пичкают Беленко наркотиками и применяют физическое насилие, чтобы только задержать его в Японии "вопреки его желанию".

---

* В порядке компенсации за подобные действия Советы продолжали создавать Исиде добавочную популярность, не говоря уже о прямых подачках. Они прибегали при этом к довольно однообразным средствам. Так, в сообщении из Москвы, датированном 14 июня 1977 года, газета "Асахи Симбун" писала: "Советский Союз принял сегодня решение об освобождении 23-х японских рыбаков. Все они задерживались в СССР по обвинению в нарушении границы советских территориальных вод. Объявляя об этом решении доброй воли, советские руководители подчеркнули, что оно представляет собой особый акт дружелюбия, совершаемый по просьбе, высказанной вчера японским министром труда Хирохиде Исидой, который находится в СССР с кратковременным визитом. Исида выразил эту просьбу на встрече с председателем Совета министров Косыгиным". Уже не в первый раз японские рыбаки использовались как своего рода разменная монета.



Японское правительство с негодованием отвергло эти обвинения. Провокационные выпады Советов вызвали реакцию японской общественности, обратную задуманной, что в свою очередь позволило правительству Японии занять вовсе неуступчивую позицию. Японцы дали американцам возможность участвовать в полной разборке самолета — деталь за деталью — для изучения его конструкции.

Правда, активные действия, предпринятые резидентурой, вызвали в японских правительственных кругах одну заминку: японцы не решились сразу дать американцам согласие опробовать истребитель в воздухе; время было упущено, и эти полеты так и не состоялись. Кроме того, КГБ удалось несколько приглушить в прессе голоса сторонников милитаризации Японии, обращавшие внимание общественности на такое вопиющее обстоятельство: МИГ-25 свободно проник в воздушное пространство страны и даже смог совершить посадку на аэродром, не будучи перехваченным японской ПВО. Опасаясь, что этот инцидент приведет к усиленному перевооружению японских сил обороны, "центр" приказал: "Приложите все усилия, чтобы показать японцам, насколько они заблуждаются. Подобный шум вокруг одиночного самолета свидетельствует о их собственной слабости перед заграницей. Показывая, что на них способно нагнать такой страх советское оборонное оружие,* они теряют лицо как одна из ведущих держав капиталистического мира".

Несколько недель спустя "центр" потребовал, чтобы Левченко взял отныне под контроль, или, по советскому выражению, "начал курировать" "дело Ареса".

Это поручение было сопряжено с немалым риском. Арес в прошлом неоднократно поставлял Советам документы из папок японской контрразведки. Если бы японцы поймали с поличным советского гражданина, получающего от Ареса эти бумаги, судьба его оказалась бы весьма незавидной. Левчен-

---

* Имелось в виду, что самолеты-истребители относятся, безусловно, к оборонительному вооружению, в отличие, например, от бомбардировщиков. (Примеч.переводчика.)

ко не пользовался дипломатическим иммунитетом. Следовательно, вступая в контакт с Аресом, он рисковал и своей свободой, и своей карьерой. Может быть, КГБ со временем и добился бы его освобождения, выкупил или обменял, но никогда уже не мог бы ему доверять как человеку, побывавшему в заключении за границей.

Ареса завербовал Пронников более десяти лет назад. Тогда это был молодой многообещающий служащий информационного агентства Киодо. Обзаведясь знакомствами среди сотрудников контрразведки, Арес получил доступ к массе секретных сведений, настолько ценных, что КГБ отзывался о нем как о "золотой жиле". По-видимому, японцы заподозрили утечку секретной информации и переместили на менее ответственные должности человек тридцать своих контрразведчиков, среди которых, надо полагать, оказался и источник сведений, поставляемых Аресом. "Линия КР", отвечавшая за контакты с ним (поскольку на эту линию возлагалась вообще задача проникновения в иностранные разведывательные органы), сплоховала и фактически потеряла ценнейшего агента. Получилось так, что за последние три года Арес не принес почти никакой пользы, хотя ему исправно продолжали выплачивать приличные деньги — около 1300 долларов в месяц.

Чтобы восстановить прежнюю "продуктивность" Ареса, Левченко стал подбирать к нему тот же ключ, что и к другим японцам, то есть попытался с ним подружиться и таким образом войти в доверие. Арес воспринял эти попытки с каменным безразличием. На него не произвел впечатления японский язык Левченко, — в конце концов, Пронников владел японским даже лучше. Хотя Пронников в свое время заявлял, что Арес согласился работать из идейных побуждений, Станислав убедился, что перед ним расчетливый, корыстолюбивый человек, далекий от каких бы то ни было возвышенных чувств.

Стройный, всегда изысканно одетый, с красивым холеным лицом, Арес был убежденным холостяком. Он откровенно говорил сотрудникам резидентуры, что главная его страсть — это женщины, что у него бывает одновременно три, а то и четыре любовницы. Притом его интересуют только образованные дамы из высших сфер. Он обращает свое благосклонное внимание главным образом на служащих министерства юстиции или иностранных дел.



Но когда Левченко, пытаясь разговорить собеседника, затронул эту тему, он натолкнулся почти на грубость.

— Эти прелестные девушки, наверное, всегда рассказывают вам что-нибудь захватывающе интересное?

— Мне не приходится их слишком долго обхаживать, так что ни до каких секретов дело просто не доходит. Но, говоря по правде, я не люблю пускаться в разговоры о моих личных делах. Давайте переменим тему...

Стараясь нащупать слабые стороны Ареса в соответствии все с той же магической формулой "MICE", Левченко заговорил о том, как высоко оцениваются его достижения в Москве, и заодно выразил надежду, что в будущем он еще не раз порадует своих друзей. Арес в ответ только поморщился:

— Вечно им что-то нужно от меня...

Поздним вечером, завезя его на какую-то глухую улочку, Левченко остановил машину и объявил:

— Мне поручено кое-что передать вам наедине, из рук в руки...

Арес заметно оживился.

— ...Письмо, — торжественно докончил Левченко.

— Вот как! — недовольно пробормотал его спутник, уже, видимо, представивший себе кучу денег, которую ему сейчас предстоит огрести.

Вручив ему конверт и карманный фонарик, Левченко попросил Ареса тут же прочесть послание, которое он сам отпечатал на роскошном бланке, не жалея комплиментов адресату, и подписал: "Ю.В.Андропов, председатель Комитета государственной безопасности".

— Я пошел, — резко заявил Арес. — Это самый компрометирующий документ из всех, какие я когда-либо держал в руках! Он, действительно, открыл уже дверцу, чтобы выскочить из машины. В последний момент Левченко спас положение, прибегнув к внезапно пришедшему ему в голову доводу:

— Страшно компрометирующий! Не зря весь этот район, куда мы сейчас заехали, оцеплен нашими людьми. И не случайно мне приказано сжечь это письмо, как только вы его прочтете. Мы пошли на такой риск, чтобы вы знали, как мы вас ценим...

Несколько смягчившись, Арес проговорил:

— Ладно, передайте господину Андропову мою благодарность... Но попросите его больше не писать мне!..

Действуя согласно инструкциям "центра", Левченко сказал Аресу, что он уезжает из Токио месяца на два, и просил за это время подготовить заключительное донесение о конечной реакции японского правительства на инцидент с МИГом-25.

Через два месяца он спросил:

— Ну, вам удалось найти что-нибудь интересное по этому делу?

— Нет. Похоже, что позиция правительства нашла вполне объективное и исчерпывающее отражение в прессе.

Действуя опять-таки по указаниям "центра", Левченко вручил Аресу конверт с деньгами, составляющими его заработную плату в КГБ за текущий месяц. За предыдущие два месяца ему намеренно не уплатили.

В день следующего свидания Левченко и Ареса вовсю хлестал дождь, и буйный ветер норовил вырвать из рук зонтики. Они встретились на уличном перекрестке. Арес был изрядно пьян. Левченко дал ему несколько поручений на будущее и сказал, что не смеет более держать своего друга под проливным дождем.

— Встретимся через пару недель...

— Нет! — энергично возразил Арес, пытаясь перекричать шум дождя и ветра. Этой встречи не будет, мы видимся в последний раз. Вы ведете себя некорректно. Пока вы отсутствовали, я работал, не жалея сил и времени, а вы решили, что можете ничего не платить мне за все время, когда вас не было в городе!

— Постойте, постойте! — вскричал Левченко, изображая примитивного тугодума. — Я, кажется, начинаю понимать... Вы нуждаетесь в деньгах... конечно, вы их заслужили. Но, наверное, произошло недоразумение, и зря вы так расстраиваетесь. Из Москвы поступает такая масса бумаг, наши клерки прямо теряют голову... кто-то из них, должно быть, не вложил деньги в конверт, предназначенный для вас... Но мы оба разволновались, а тут еще этот тайфун! Разрешите мне вернуться в посольство, я все выясню... Увидимся завтра же, идет?



Левченко отправился прямо к Гурьянову; тот сразу же дал знать в Москву, что резидентура рискует потерять ценного агента. Через несколько часов — в Токио наступило уже утро следующего дня — "центр" ответил: "Согласны с выплатой агенту Аресу денег за два прошлых месяца. Одобряем усилия тов.Кольцова по активизации агента и установлению психологического контроля над ним. Одновременно обращаем ваше внимание, что в прошлом Арес выказывал особый интерес к материальной стороне контактов и пытался вымогать деньги у связанных с ним работников под угрозой прекращения сотрудничества. Надеемся, что тов. Кольцов как опытный работник найдет соответствующую линию поведения с агентом и впредь".

Вечером того же дня Левченко объявил Аресу:

— Знаете ли, вы были правы. Ясно, что это случайная ошибка. Я получил обычный в таких случаях ответ: они извиняются, больше это не повторится. Вот ваши деньги... Но вам ничем не угрожает сотрудничество с нами, вы проверили?

— Что касается меня, тут все в порядке.

— Меня очень волнует ваша безопасность. Вся наша организация крайне заинтересована в вас. Мне думается, вы напрасно пытаетесь снять напряжение спиртными напитками, как я заметил вчера. Вам нужно сохранить ясную голову. Я настаиваю, чтобы вы, направляясь на встречу со мной, никогда больше не употребляли спиртное! После встречи — пожалуйста, но до нее — ни в коем случае!

Арес виновато соглашался, сам не замечая, что соглашается с ролью подчиненного, которому Левченко вправе диктовать, как ему себя вести.

—...И я надеюсь, что, встречая с моей стороны полное по-

нимание, такую готовность к честному сотрудничеству, вы отплатите мне той же монетой! — закончил Левченко.

На протяжении последующих трех месяцев Арес, действительно, работал не за страх, а за совесть и передал резидентуре микрофильмы примерно тридцати документов. Переводя их один за другим, Левченко поначалу не обнаружил, правда, ничего особенно интересного. Но вот ему попался на вид ничем не примечательный документ, содержание которого оказалось просто поразительным. В нем были зафиксированы, день за днем, перемещения по Токио одного из важнейших агентов КГБ, — следовательно, этот агент находился под постоянным наблюдением! Резидентура немедленно дала ему знать, чтобы он полностью прекратил нелегальную деятельность и, более того, постарался показать японской контрразведке, что за ним ничего такого не водится. Этот документ фактически избавил советскую агентурную сеть в Токио от возможной инфильтрации японских контрразведчиков. Конечно, он мог исходить только из самой сердцевины японских спецслужб.

Среди документов, переданных Аресом на протяжении дальнейших двух недель, Левченко обнаружил еще одно сокровище — статистический отчет о количестве, национальности и месте жительства всех иностранцев, пребывающих в Японии. Центр счел нужным подчеркнуть, что этот документ окажет неоценимую помощь управлению "С" при определении пунктов, где следует внедрять в японское общество нелегальных агентов, чтобы получить наибольший эффект.

В новом документе, полученном месяц спустя, перечислялись сотрудники резидентуры, которых японцы однозначно определили как офицеров КГБ и ГРУ, и Станиславу приятно было узнать, что он в этом списке не числится. Не менее важным выглядел и такой факт: этот документ подтверждал вывод, вытекавший из предыдущих — Арес имеет собственного информатора внутри японской службы безопасности.

Убедившись в этом, Левченко принимал теперь все меры предосторожности, чтобы оградить Ареса от возможного внимания японских спецслужб. Они договаривались по телефону о ближайшей встрече, обозначая ее время и место условными, только им понятными словами. А сама встреча протекала так:



— Вы мне что-нибудь принесли? — спрашивал Станислав, поравнявшись на улице с Аресом.

—Да.

— Отлично, не замедляйте шага. Я вас догоню…

Спеша с добычей в кармане к машине, где бдительно дежурил водитель-оперативник майор Жаворонков, Левченко чувствовал, как учащенно бьется его сердце. Подойдя, он прятал полученную микропленку в специальную пластмассовую коробку, закрывал герметическую крышку и поворачивал ее на пол-оборота. Чтобы теперь открыть коробку, надо было вернуть крышку в то же положение, которое было известно только Станиславу и офицеру из отдела технических операций. Попытки снять крышку, не прибегая к этому ухищрению, приводили к мгновенному воспламенению содержимого и, таким образом, уничтожению микропленки.

При встречах с Аресом Левченко первым делом вручал ему конверт с деньгами. Последующий короткий разговор занимал менее минуты, и они расходились, будто случайные знакомые, ненароком встретившиеся на улице. После этого Левченко, подойдя впритирку к машине, принадлежавшей советскому посольству, передавал пленку Жаворонкову, тот мчался с ней в резидентуру, а Левченко направлялся к себе домой.

Выходя из дому, Левченко всегда имел при себе миниатюрный приемник. Он лежал в кармане, с антенной, опущенной в брючину. Дежурный офицер "Зенита" в это время прислушивался, не проявляют ли активности радиопередатчики японской контрразведки в соответствующем районе, и едва заметив что-либо подозрительное, посылал предупредительный сигнал Станиславу.

Общий объем документов, полученных резидентурой от Ареса, составил уже несколько тысяч страниц. Постоянно просматривая этот поток информации, Левченко установил, что вначале процентов тридцать, затем пятьдесят и, наконец,

более семидесяти процентов всех материалов исходит, по всей видимости, от одного и того же человека, работающего в японской контрразведке. Когда среди снятых на микропленку документов начали попадаться страницы ежемесячного закрытого японского бюллетеня, предназначенного только для высших правительственных служащих, стало ясно, что источник принадлежит именно к этим высоким сферам. И, наконец, наступил день, когда Левченко попросил Ареса постараться достать копию своего собственного досье, наверняка уже давно составленного японскими спецслужбами.

Арес заявил, что не сможет "просто так" заполучить досье кого бы то ни было из советских служащих; для этого требуется представить убедительное объяснение, зачем оно ему понадобилось. Поразмыслив, Левченко решил написать для "Нового времени" статью, которая дала бы Аресу повод изобразить его антияпонски настроенным фанатиком, особа которого заслуживает внимания правоверных местных журналистов. Темой статьи он выбрал положение "эта" или "буракумин" — той категории японского населения, которая согласно древним догматам буддизма считалась "нечистой", — только потому, что они забивали скот и обрабатывали мясные туши.

Воспользовавшись содействием Такуми Уэда — члена парламента и одновременно активиста "Лиги освобождения буракумин" — Левченко посетил районы, населенные "эта" (кстати, само это слово означает — "отверженные"), после чего "Новое время опубликовало его статью, высмеивающую японцев за дискриминацию несчастных "отверженных". Вскоре Арес с едва заметной усмешкой передал ему ролик микропленки: "Это вас должно заинтересовать..." Ролик содержал извлечения из досье, составленного японцами на Левченко.

Он был охарактеризован там как "возможный" сотрудник КГБ. Впрочем, это подозрение тяготело над ним как бы по наследству: японцам было известно, что его предшественник по "Новому времени" заведомо являлся работником Комитета госбезопасности. В досье перечислялись многие из японских партнеров Станислава, — правда, среди них не оказалось ни Кинга, ни Томаса. Были отмечены его поездки за пределы Токио и результаты слежки. Забавно, что одна из записей фиксировала его недавнюю поездку на юг Японии. Действительно, он заказал тогда авиабилет через Национальный клуб прессы, но опоздал на самолет из-за транспортных пробок на токийских улицах, и поездка не состоялась. По-видимому, кто-то из Клуба прессы служит осведомителем контрразведки...



Услуги Ареса приобрели теперь особую ценность в глазах Левченко, Гурьянова и самого "центра". Если бы удалось также формально завербовать то лицо, от которого получает информацию Арес, и превратить его в контролируемого агента, — перспективная ценность такого информатора должна была оказаться еще большей, прямо-таки не поддающейся точной предварительной оценке. Следовало полагать, что этому человеку, как и самому Аресу, под сорок, но он занимает несравненно более высокий служебный пост. Так или иначе, Арес, вне всякого сомнения, имел дело с опытным профессионалом, безусловно способным распознать, не пахнет ли интерес Ареса к служебным, тем более секретным, документам, обыкновенным шпионажем. Быть может, он уже распознал в Аресе шпиона, и, более того, поступил, как полагается в таких случаях? Не исключено, что японцы начали классическую игру с дальним прицелом, снабжая Ареса полноценными, подлинными документами, чтобы упрочить доверие КГБ к этому источнику. А потом, когда настанет час какого-нибудь мирового кризиса, они подсунут КГБ по тому же каналу фатально дезориентирующий документ — и этой ловушкой будет оправдана вся их многолетняя терпеливая игра.

Действуя на собственный страх и риск, имея дело с неподконтрольным резидентуре офицером японской спецслужбы, о котором КГБ даже ничего не знал, Арес, конечно, ежеминутно подвергался страшной опасности. Тем более важно было удостовериться, что же собой представляет его источник информации, выведать все детали, касающиеся этой таинственной личности. Но Арес категорически отказывался назвать имена своих информаторов.

Запросив и получив микрофильм досье, заведенного "центром" на самого Ареса, Левченко начал внимательно изучать его, интересуясь главным образом временем, когда резидентура только установила контакты с Аресом. Об этом времени он знал явно недостаточно.

Поздно ночью, когда Левченко уже собирался оставить это нудное занятие и отправиться спать, его внимание привлекла такая любопытная фраза: лет десять назад, перечисляя свои связи в различных кругах японского общества и стремясь, грубо говоря, набить себе цену, Арес упомянул — не называя, впрочем, по имени, — одного офицера разведки, с которым он был дружен с ранней молодости. В дальнейшем этот офицер закончил Академию разведывательной службы и работал тайным агентом в отделе, занимавшемся токийскими группами террористов и левых экстремистов. Хорошо проявив себя, офицер был переведен в провинцию, где было больше возможностей для продвижения по службе.

Арес счел нужным подчеркнуть, что если дела его знакомого и в дальнейшем пойдут столь же успешно, то он, возможно, вернется в Токио. Не исключено, что это лицо как раз и сделалось теперь постоянным источником информации, поступающей от Ареса. Не в этом ли разгадка того, что "золотая жила", на время словно бы исчерпавшая себя, вновь раскрылась перед токийской резидентурой?

На ближайшем свидании, мимолетном, как обычно, Левченко попросил Ареса выехать из Токио рано утром в воскресенье, чтобы в час дня они могли встретиться в отдельной кабине уютного ресторанчика, находящегося поблизости от знаменитого курорта Хаконе.

Левченко доехал туда без каких бы то ни было приключений, но на всякий случай останавливался по дороге во всех мало-мальски примечательных населенных пунктах, часто посещаемых туристами, и увлеченно щелкал фотоаппаратом. В случае чего он мог сказать, что занят подготовкой статьи для "Нового времени" о красотах токийских пригородов.

Арес поджидал его, попивая в одиночестве виски, — он позволял себе эту роскошь всякий раз, когда знал, что заплатит КГБ.



— Ну, как? — спросил Левченко.

— Я не заметил ничего подозрительного...

— Я тоже. Так вот, давайте порадуем друг друга.

Левченко торжественно объявил, что в знак признания блестящих достижений Ареса Москва награждает его суммой, достаточной, чтобы он мог купить себе новый автомобиль. Документы, доставляемые Аресом, свидетельствуют о том, что он не только ценный сотрудник, но и смелый человек, выдающаяся личность. Между прочим, Левченко, анализируя эти документы, пришел к выводу, что все они поступают из одного источника. И вот он вспомнил, что много лет назад Арес дружил с человеком, только-только начавшим тогда работать в японской контрразведке. Если источник нынешних документов — этот самый друг Ареса, то, значит, операция вступила в принципиально новую и притом опасную фазу, потому что играть в такие игры с офицером контрразведки опасно по определению.

Если Арес готов раскрыть свой источник информации, то он тем самым уменьшает опасность, грозящую ему лично. В этом случае огромный опыт и профессиональные возможности резидентуры, да и самого "центра", будут направлены на то, чтобы оградить его от всяких случайностей. Впрочем, Левченко ни на чем не настаивает. Пусть Арес решает сам. Не хотелось бы только, чтобы он так рисковал собой в одиночку.

— Что ж, я очень рад, что Москва обо мне помнит. Спасибо ей за щедрый подарок, — заговорил Арес. — Во многом вы правы. Эти документы, что я доставлял вам последнее время, исходят из одного источника. Действительно, это мой друг. Еще года не прошло, как он вернулся в Токио. Я не называл вам его именно потому, что не был уверен, что он без конца будет снабжать меня такими важными документами...

— А какой пост он занимает?

— Начальник сектора.

— Раз он дает вам знакомиться с такими важными документами, значит, вы по-прежнему близкие друзья?

— Ну, конечно.

— Вы встречаетесь открыто, на людях?

— Мы часто встречаемся с женщинами, вместе обедаем, потом отправляемся на час-другой в какую-нибудь гостиницу... Мой друг очень неравнодушен к женщинам, он без них просто жить не может. Но он женат, и у него нет времени, чтобы заводить романы. Так что я предоставляю ему свой гарем.

— Нельзя ли узнать, как зовут этого Казанову?

— Думаете, я не понимаю, к чему вы клоните? Вы, конечно, тут же отправитесь в посольство и пошлете в Москву телеграмму: вот мы и провели этого глупого Ареса, выведав, как зовут его поставщика информации. Ну да ладно, я вам доверяю. Сейчас я назову его имя. Только, пожалуйста, не злоупотребляйте моей откровенностью. Сразу же дайте ему псевдоним.

— Псевдоним? За этим дело не станет. Давайте назовем его Швейком.

— Что это значит — "Швейк"?

— Да ничего особенного. Так звали героя одного известного чешского романа — "Похождения бравого солдата Швейка". Я просто назвал первое имя, что мне пришло в голову. Между прочим, ваш друг, конечно, не знает, что вы делаете со всеми этими документами?

— Он считает, что я пользуюсь ими в своей работе...

— А его не удивляет, что в ваших статьях никогда не встречается никакого намека на них?

— О, нет. Я обещал никогда их не цитировать. Он полагает, что эти документы нужны мне, так сказать, для расширения общего кругозора...

— Ну, так или иначе, я буду рад, если мне удастся сделать вашу дружбу с господином Швейком еще более прочной. Допустим, мы начнем передавать вам добавочные суммы денег в расчете на него. Вы уж сами решите, — потратить их на совместные развлечения или просто передать ему. Скажите ему при этом, что ваша организация выделяет специальные средства на сбор информации, необходимой для борьбы с коммунистами.

— Это, конечно, поможет нам получить массу интересных документов...



— Без всякого сомнения! Давайте, вернемся к обсуждению всех деталей ровно через неделю, тоже в воскресенье.

На сегодня хватит, решил Левченко. Он и так уже добился многого. Не следовало чрезмерно смущать Ареса, вытягивая из него дальнейшие подробности о "Швейке". Прямой путь — не всегда самый короткий.

На телеграмму, отправленную Гурьяновым и Левченко в тот же вечер, "центр" отозвался немедленно. Текст ответа был проникнут нескрываемой радостью: "Тов.Кольцову удалось воскресить Ареса и добиться значительного прогресса в работе с ним. Имеющиеся сведения об его источнике информации дают основания надеяться, что резидентура сумеет завербовать, пусть под ложной вывеской, офицера японской контрразведки. Просим только соблюдать предельную осторожность. Проверяйте и перепроверяйте обоих — Ареса и Швейка, ни на минуту не забывайте, что это может оказаться игрой, начатой контрразведкой".

Гурьянов санкционировал выплату Аресу дополнительно шестидесяти тысяч иен для Швейка — это была максимальная сумма, которую он мог выделить своей властью. При этом он сказал: "До сих пор мы имели дело с призраком. Пришло время, чтобы он облекся плотью".

Деликатно расспрашивая Ареса, Левченко смог постепенно набросать достаточно определенный портрет "призрака". Подполковник, в возрасте около сорока. Любит свою работу, и его дальнейшая карьера представляется обеспеченной. Лояльный японский гражданин, — следовательно, убежденный антикоммунист. Но во всем остальном, кажется, совершенно аполитичен, не отдает предпочтения ни Либерально-демократической, ни Социалистической партии. Женат на портнихе. Похоже, это одна из разновидностей брака по расчету. Во всяком случае, жену не слишком беспокоят его увлечения на стороне.

Он приобрел скромную квартирку, и ежемесячные выплаты за нее очень чувствительны при его относительно небольших доходах. Он, конечно, нуждается в дополнительных средствах. Но нет никаких признаков того, что, передавая

Аресу документы, он исходил из каких-либо иных побуждений, чем просто желание помочь своему близкому другу. Если он узнает, что объективно помогал Советам, это будет для него страшным ударом.

Установив служебное положение Швейка и, таким образом, представив себе, к какой примерно информации он имеет легальный доступ, Станислав теперь настойчиво просил Ареса добыть определенные документы, которые Швейк заведомо не мог получить легально.

— Как раз эти бумаги он не может достать, — сообщил спустя некоторое время Арес. — Они находятся в распоряжении других отделов, с которыми у него нет общих дел.

Это было благоприятным признаком. Напротив, если бы Швейк снабдил Ареса также и этими документами, следовало сделать вывод, что японцы специально позаботились предоставить их в распоряжение КГБ.

При каждой встрече Левченко тщательно взвешивал каждое слово Ареса, внимательно наблюдал за ним, пытаясь уловить признаки перемен в его поведении, вслушивался во все его вопросы, которые могли выдать, не подпал ли Арес под контроль японской стороны.

Из месяца в месяц Швейк с Аресом продолжали снабжать КГБ информацией, содержащейся в досье японских граждан. Чтобы составить представление о том или ином японском деятеле, КГБ прежде всего изучал секретную информацию о нем, собранную ведомством Швейка. Когда резидентура не была уверена в успехе какой-либо из планируемых операций, тоже можно было тайно проконсультироваться на этот счет у японской стороны. Один из полученных документов содержал совершенно секретные протоколы совещания руководителей японских спецслужб, на котором обсуждались общие направления операций, предпринимаемых против советского блока. На основе одного этого "богатого" документа резидентура подготовила целых десять самостоятельных донесений.

Устав пробираться на тайные свидания с Аресом разными темными закоулками, Левченко решил, что будет вполне благоразумным время от времени встречаться с ним в более естественной и непринужденной обстановке, например в ресторане в субботний вечер или в воскресенье днем. Он даже сочинил легенду, которая в случае чего позволит Аресу без труда объяснить, почему тот обедает с русским: "Он, то есть Левченко, советский журналист и тайный диссидент. Как большинство советских журналистов, он очень сдержан и не способен выдать никаких государственных тайн. Вместе с тем, он рассказывает массу интересного об общем положении в Советском Союзе. Я как журналист вроде бы "завербовал" его для своей организации. Но он человек осторожный и очень боится, как бы его земляки не увидели нас вдвоем. Вот почему мы обычно встречаемся поздно вечером и в отдаленных от центра ресторанах. Он просто труслив. Но в то же время он порядочный гурман и способен прямо-таки наслаждаться хорошо приготовленной едой, — разумеется, когда плачу я".



Швейк, привыкший по просьбе Ареса приносить документы из своего учреждения и еще более привыкший к дополнительному доходу, оказался теперь, сам того не сознавая, под контролем КГБ. "Центр" по-прежнему одобрял ход этой операции и высоко отзывался о разведданных, получаемых от того и другого. Гурьянов, со своей стороны, рекомендовал "центру" санкционировать формальную вербовку Швейка.

— Если у тебя и дальше так здорово пойдут дела, ты скоро обгонишь меня по службе, — шутливо говорил он Станиславу.

Но вот как-то после очередного выходного дня, придя на работу, Гурьянов начал день с того, что распечатал пакет, прибывший с очередной почтой из Москвы. В нем было длинное послание на двадцати страницах за подписью Орлова (рабочий псевдоним Анатолия Бабкина, бывшего тогда начальником Седьмого управления).

"Центр" по-прежнему одобряет действия тов.Кольцова по развитию чрезвычайно важного контакта внутри японской разведслужбы, — говорилось в послании. — В то же время, чтобы убедиться, что мы располагаем полным представлением об этом контакте, и избежать малейшей вероятности быть вовлеченными в оперативную игру японской разведки, резидентура должна приложить максимум усилий для проверки

Швейка. Арес также должен быть подвергнут параллельной проверке. Резидентуре предлагается представить детальный план осуществления этих мер. Кроме того, желательно, чтобы резидентура приняла к сведению следующие предложения "центра".

Попросите Ареса сфотографировать Швейка; сфотографируйте дом, где Швейк занимает квартиру, установите наружное наблюдение за его домом и учреждением, чтобы выяснить его обычные часы работы; проследите путем визуального наблюдения за встречами Швейка и Ареса, проследите также, куда направится Швейк после такой встречи; установите подслушивающие устройства по месту работы Швейка; получите через Ареса перечень всех друзей Швейка и всех лиц, кому он подчинен по службе; разработайте план проверки Ареса и Швейка путем снабжения Ареса карманным магнитофонным устройством со спецпередатчиком".

Когда Левченко кончил читать и отложил эту странную инструкцию, Гурьянов сказал:

— Станислав, я знаю, ты человек культурный. Так что извини за грубый совет: иди помой руки, ты только что держал большой кусок дерьма.

Руководитель "линии КР" Юрий Дворянчиков читал эту бумагу, откровенно смеясь:

— Я бы сказал, что это написано кретином, если б не знал точно, кто готовил этот документ! Добрая половина этих предложений связана с нарушением элементарных правил безопасности. Тот, кто писал, явно хочет загубить всю операцию... или ему хочется, чтобы кто-то крепко погорел у нас в резидентуре. Вы можете себе представить наших русаков, бегающих по всему Токио вслед за японцем-профессионалом? Слоняющихся вокруг штаба японской контрразведки? Или, еще чище, устанавливающих в этом штабе подслушивающие устройства? Это же стопроцентный абсурд, и они сами это знают. Они хотят провалить операцию!..

— Это Пронников, — заметил Левченко.

— Конечно, он, — сказал Гурьянов. — Но он переборщил. А в то же время, если мы хотим добиться санкции на формальную вербовку Швейка, придется все же как-то его проверять. Но мы сделаем это поумнее. Мы, как-никак, профессиональные разведчики.



— Можно, я составлю проект ответа? — спросил Левченко и, получив согласие, написал: "Любой компетентный сотрудник, имеющий опыт работы в Японии, должен будет признать, что предложения, относящиеся к Швейку и Аресу и выдвигаемые от имени "центра", являются просто самоубийственными. Резидентура не может рисковать провалом одной из самых важных операций, идя на такие безответственные и непрофессиональные действия. Проверка Швейка будет вестись резидентурой на профессиональном уровне".

Гурьянов и сам Левченко колебались, стоит ли отсылать такой ответ, написанный сгоряча, но резидент сказал:

— Сойдет. Хуже все равно не будет.

Вскоре они убедились, что бывает хуже, и даже очень.

После этой истории прошло месяца полтора. Левченко шел по двору посольского комплекса, как вдруг его окликнул майор Жаворонков:

— Слушай, ты не поможешь мне тут в одном деле?

Между ними уже возникла та особенная дружба, которая обычно связывает людей, участвующих в опасных предприятиях и в любой момент готовых выручить друг друга в критической обстановке. У майора за плечами было несколько лет напряженной работы в Москве, где он то и дело рисковал жизнью, участвуя в головокружительных гонках преследований. В Токио он как водитель-оперативник должен был прикрывать своих коллег и агентов, предупреждать любую потенциально грозящую им опасность, если потребуется — тоже ставя на карту собственную жизнь. Обнаружив слежку за местом встречи офицера резидентуры с агентом, он был обязан переключить филеров на себя. Если бы его и его спутника задержала полиция, ему вменялось в обязанность любой ценой сохранить документы и микропленки, полученные от агента. Словом, в любой момент ему приходилось считаться с возможностью провала.

За неделю до встречи во дворе посольства Жаворонков и Левченко, возвращаясь со свидания с агентом, заглянули в

бар рядом с посольским комплексом, чтобы выпить и немного прийти в себя. Здесь их глазам представилось такое зрелище: перед стойкой в полном одиночестве восседал один из шифровальщиков резидентуры. Состояние его отвечало образному выражению: лыка не вяжет.

Известно, что шифровальщики знают больше секретов, чем кто бы то ни было, исключая разве что самого резидента. Вечный страх начальства, что кто-нибудь из них может стать добычей иностранных спецслужб, был настолько велик, что шифровальщикам не разрешалось выходить за пределы посольского комплекса без специальных сопровождающих. Но в тот вечер, как потом выяснилось, сопровождающий — офицер резидентуры — так упился, что ноги сами вынесли его из бара и занесли неизвестно куда. Это был тяжкий служебный проступок, грозивший проштрафившимся немедленным откомандированием на родину и увольнением из "органов".

Не сговариваясь, Левченко и Жаворонков кинулись к шифровальщику, доволокли его до машины, затолкали чуть ли не под заднее сиденье и, тайно доставив в пределы посольского комплекса, уложили в постель в его собственной квартире. Все это они проделали, полностью отдавая себе отчет, что если их контрабандная акция будет обнаружена, их тоже вышвырнут из "органов".

— ...Чем могу быть полезен? — спросил Левченко.

— Резиденту требуется, чтобы я написал рапорт об одном тут офицере, который в общем-то хороший парень, но какой-то сволочи в "центре", видно, не терпится съесть его с потрохами. Я не очень-то силен в писании таких характеристик, вот я и подумал, может, ты как журналист меня выручишь...

— Что же ты хочешь там написать?

— Ну, во-первых, надо будет отметить, что работает он день и ночь. Во-вторых, у него нет никакой личной жизни из-за этой вечной оперативной работы. В-третьих, мы, с ним участвовали во многих очень опасных операциях, и он всегда был спокоен, никогда не терял голову. Потом, он обо всем забывает, когда надо прийти на помощь товарищу. Забывает о себе, о своих интересах... И еще: мы с ним ездили на многие



встречи с агентами, и я никогда не видел его выпившим. Вообще, он пользуется в резидентуре большим авторитетом...

Левченко быстро напечатал на машинке рапорт, нужный Жаворонкову, и тут же забыл о нем. У него были свои заботы, и ото дня ко дню, похоже, их становилось все больше.

Как-то его вызвал Гурьянов и сухо заметил:

— "Центру" требуются дополнительные детали вашей встречи с Аресом в районе Мегуро.

— Зачем это им? Ведь три месяца прошло, не меньше!

— У них там появились какие-то сомнения, нужно что-то добавочно выяснить. Так что не сочтите за труд изложить все детали этой встречи и ваши действия, предшествовавшие ей, — все, что сможете вспомнить.

— Да не могу я теперь припомнить всякие там мелочи...

— Постарайтесь. Постарайтесь припомнить абсолютно все, вплоть до мельчайших деталей. Это очень важно.

— Ладно, я принесу вам отчет на будущей неделе.

— Нет, не годится. Сегодня же вечером.

— Но у меня назначена встреча на вечер...

— С кем? С Аресом?

— Нет, с Каменевым. — (Это был новый, усиленно развиваемый контакт.)

— Отмените ее и садитесь писать!

Станиславу все же удалось припомнить подробности той давней встречи с Аресом, главным образом благодаря тому, что встреча происходила не в обычный день, а в один из советских праздников. Как правило, КГБ запрещает контакты с агентами в праздничные дни, потому что если эти контакты кончатся арестом или другими неприятностями, которые придется отразить в сводке, то это нарушит покой отдыхающих в такие дни членов Политбюро. Поскольку все контакты с Аресом считались опасными, Станиславу приходилось выезжать на встречу с сопровождающим — обычно с Жаворонковым. Но в тот раз ему не хотелось беспокоить Жаворонкова — как-никак, все же праздничный день. Потягивая пиво и наблюдая за игрой в волейбол во дворе посольства, Станислав наткнулся взглядом на Александра Шишаева. Тот, конечно,

охотно отправится с ним — что в будний день, что в выходной. Шишаев, как известно, попал в КГБ только благодаря тому, что его отец поставлял Первому главному управлению цветы в дни торжеств и траурных церемоний. Но он был столь примитивен, что резидентура не доверяла ему работать с агентами, и ему так и не удалось самому никого завербовать. Поэтому он всегда был готов подобострастно услужить любому из своих более удачливых коллег, — лишь бы не говорили, что от него нет никакого толку. Шишаев тут же согласился сопровождать Левченко, и под вечер они выехали на встречу с Аресом.

Встреча, состоявшаяся на улице перед каким-то скромным кафе, заняла всего несколько минут, и Левченко решительно не мог вспомнить о ней ничего примечательного. Но когда его отчет уже ушел в Москву, Гурьянов откровенно сказал ему:

— В отношении тебя ведется расследование. "Центр" получил сообщение, что ты тогда, встречаясь с Аресом, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Левченко вдруг сообразил: это сообщение могло исходить только от Шишаева. По-видимому, тот состоял у Пронникова в числе осведомителей.

— Но, кажется, дело пошло на лад, — продолжал Гурьянов. Он хотел добавить что-то еще, но в этот момент зазвонил телефон, а потом Гурьянову понадобилось выйти из кабинета. Вставая из-за стола, он то ли случайно, то ли намеренно обвел взглядом лежавшие перед ним бумаги, — как будто приглашал Левченко тоже поинтересоваться ими.

Оставшись один в кабинете резидента, Левченко смог убедиться, что эти бумаги — не что иное, как рапорты офицеров резидентуры, характеризующие его, левченковские, качества — его порядочность, преданность делу, профессиональный опыт. Один из этих рапортов принадлежал Севастьянову, другой был написан самим резидентом, наконец, в третьем Станислав узнал ту бумагу, которую он сам писал недавно по просьбе Жаворонкова. Итак, все трое, не исключая самого Гурьянова (единственного убежденного коммуниста, которого довелось встретить Станиславу за всю его жизнь), единодушно решили спасти его. А если бы этого не произошло,



если б они не захотели открыто идти наперекор Пронникову? Ну что ж, тогда Пронников и вся эта гебешная система погубили бы Левченко.

Когда Гурьянов вернулся в кабинет, ему пришлось дважды окликнуть Левченко — так глубоко тот ушел в свои невеселые мысли.

— Я говорю, Станислав Александрович, пора приступить к работе впрямую со Швейком. Это будет самым лучшим ответом вашим недоброжелателям.

Левченко разработал план, каким образом заполучить фотографию Швейка, затребованную "центром".

Попросив Ареса в следующий раз встретиться со Швейком днем в баре, занимавшем подвал небоскреба Сантори, Левченко сказал, что он сам будет поджидать их там.

— Зачем? Разве вы мне не доверяете? — спросил Арес.

— Да нет, конечно, мы все верим вам. Это очень здорово, что ваш друг — видный сотрудник разведки и что вам фактически удалось завербовать его. Но с другой стороны, именно то, что он — профессиональный разведчик, заставляет нас считать: надежнее, если каждая деталь наших с вами операций будет проанализирована не одним, а несколькими нашими компетентными офицерами. Помните, мы заботимся прежде всего о вашей безопасности.

Как было решено, Левченко с женой заранее пришли в бар. Появился Швейк, которого Станислав видел впервые. Это был скромно одетый мужчина средних лет. Вид у него был нервный и какой-то взъерошенный. Войдя, он быстро осмотрелся, на секунду задерживая взгляд на каждом посетителе бара.

Швейк передал Аресу небольшой пакет и взамен получил конверт. Как бы они ни дружили, в этот момент они были прежде всего заговорщиками, спешившими поскорее покончить с делом, и, опрокинув по рюмке, более не задерживались в баре. Арес, направляясь к выходу, провел Швейка чуть ли не вплотную к Станиславу. Тот слегка пригнулся, нажал кнопку, и сработала камера, спрятанная в портфеле.

Гурьянов сообщил в "центр": "Анализ текущих взаимоотношений Ареса и Швейка, а также психологическая характе-

ристика Швейка, составленная тов.Кольцовым путем косвенного опроса последнего, показывают, что как Арес, так и Швейк искренни. Кроме того, тов.Кольцов и его жена лично наблюдали за встречей этой пары. Результаты наблюдения во всех отношениях подтверждают аналитические выводы. За последние два года резидентура получила от Ареса — Швейка более трех тысяч страниц документов неодинаковой ценности, однако достаточно важных, чтобы отвергнуть предположение о возможной разведигре. Японские спецслужбы едва ли могли рассчитывать что-то выиграть в результате получения нами доступа к упомянутым документам, так что вести такую игру для них не имеет смысла. В частности, они никоим образом не могли бы добровольно расстаться с секретным документом, представляющим собой протоколы совещания руководителей японских спецслужб и раскрывающим основные направления деятельности японской контрразведки. Как известно "центру", резидентура на основании одного лишь этого документа подготовила десять разведдонесений, причем некоторые из них поступили прямо к председателю КГБ тов. Андропову. Таким образом, резидентура считает Швейка созревшим для формального включения в сеть".

Получив ответ "центра", Гурьянов выждал несколько дней, прежде чем сообщить этот ответ Станиславу. Возможно, он пытался убедить "центр" изменить занятую им позицию, или просто обдумывал, как лучше объявить подчиненному о неуступчивости начальства. Ответ "центра" сводился к следующему: "Ввиду чрезвычайной важности и перспективности операции Арес — Швейк, а также необходимости дальнейших проверок, операция должна быть передана "линии КР".

Безусловно, к этому распоряжению приложил руку Пронников. Поскольку "центр" санкционировал формальное включение Швейка в состав агентурной сети, то его вербовка будет теперь доверена кому-либо из офицеров "линии КР". Станиславу же было недвусмысленно в нем отказано — а значит, и в продвижении в ближайшее время по службе.

— Но если они думают, что "линия КР" справится с этим делом лучше, чего же они вначале поручили его мне? — спросил Левченко.



— Есть такая пословица, — откликнулся Гурьянов, — пусть лучше меня обворуют, чем мне самому придется воровать. Никто уже не сможет отнять у вас главное. То есть, я и мои товарищи уверены в ваших достоинствах, и эту уверенность уже никто и ничто не поколеблет.

Левченко промолчал.

— Я знаю, Станислав, сейчас вам нелегко. Но, пожалуйста, не обвиняйте в этом нашу систему. Это не система виновата. Плохие люди встречаются везде. Когда мы построим настоящий коммунизм, таких там не будет!..

— Наверное, не будет, — сказал Левченко. — Спасибо, вы меня утешили...

## Глава четвертая
## ТАЙНЫЙ ЗАМЫСЕЛ

Убедившись, что он в какой-то степени утратил доверие начальства и что всему виной козни Пронникова, Станислав если и огорчился, то ненадолго. В конце концов, пребывание сотрудника в Японии считается в КГБ "оправдавшим себя", если ему удается завербовать хотя бы одного достаточно важного агента; Левченко же завербовал уже троих, причем двое из них были официально утверждены в качестве постоянных агентов. Дальнейшее повышение в звании его не слишком волновало. Кроме того, судьба и раньше не всегда была благосклонна к нему.

В дополнение к другим делам, теперь он должен был взять на себя ответственность за курирование деятельности одного из наиболее ценимых резидентурой агентов — "проводников влияния" — Такудзи Ямане, носившего кодовое имя Кант. Этот узколицый интеллигентный японец с профессорской внешностью был завербован еще в 60-е годы все тем же Пронниковым. За прошедшее время Кант неуклонно продвигался по службе — был помощником редактора консервативной газеты "Санкэй", личным советником издателя; в мае 1982 года его назначили главным редактором. Он искусно вы-

давал себя за непримиримого националиста антисоветского и антикитайского толка. В действительности Кант придерживался марксистских убеждений и симпатизировал Советскому Союзу.

Правда, японская контрразведка засекла встречу Канта с корреспондентом "Комсомольской правды" Николаем Лосинским, информировала его, что лицо, с которым он встретился, является сотрудником КГБ, и склоняла его к сотрудничеству против Советов. Кант изобразил испуг и негодование по поводу того, что эти зловещие красные осмелились подослать к нему шпиона, выразил на словах поддержку тайным операциям своей страны, однако решительно отклонил предложение о сотрудничестве с контрразведкой, поскольку как редактор газеты он не может участвовать ни в какой подобной деятельности.

КГБ на полгода прервал все контакты с Кантом и возобновил их вновь через посредство корреспондента Агентства печати Новости майора Бориса Смирнова. Когда умер китайский премьер Чжоу Эньлай, Смирнов обратился к Канту с оригинальным поручением, не терпящим отлагательства. Кто-то из сотрудников службы дезинформации КГБ вспомнил, что Ленин, умирая, продиктовал письмо, известное под названием "Ленинское завещание" . Это письмо заставило Сталина потратить несколько лет на консолидацию сил в верхах партии.

Чтобы посеять аналогичный разброд и замешательство в компартии Китая, КГБ изготовил фальшивку под названием "Завещание Чжоу Эньлая" и забросил ее в Токио, распорядившись распространить этот текст через какой-нибудь респектабельный консервативный орган печати. Например, через "Санкэй". Кант задал в связи с этим такой вопрос: "Как я объясню, откуда у меня взялось это завещание? Ведь среди моих друзей и знакомых нет ни одного родственника Чжоу Эньлая!"

Корреспондент АПН посоветовал ему заявить, что некоему китайцу с материка удалось нелегально доставить это "завещание" в Гонконг, а оттуда оно, дескать, попало в Японию.



Взвесив все "за" и "против", Кант отказался от этой версии. "Завещание" может быть вынесено на страницы "Санкэй" только в таком виде: он, Кант, напишет статью за собственной подписью со ссылкой на "завещание" и, введя туда текст, исходящий якобы от Чжоу Эньлая. От любого другого издатель категорически потребует четкого указания на источник. Однако, желая застраховаться от возможных неприятностей после публикации "завещания", Кант настаивал, что в заголовке его статьи должно быть подчеркнуто: он лично не ручается за подлинность этого документа. Из Москвы сообщили: "центр" скрепя сердце согласился на такой компромисс.

Статья Канта, без промедления перепечатанная в Советском Союзе, действительно вызвала замешательство среди китайских руководителей. Они лихорадочно начали предпринимать попытки установить происхождение этого документа и его подлинность. Прошло порядочно времени, прежде чем они, к своей великой радости, установили, что речь идет об искусной подделке. Поскольку это удалось им далеко не сразу, на положении Канта в газете такой финал этой истории никак не отразился.

Тем не менее, ввиду предостережения, полученного от контрразведки, а также в связи с участием в акте дезинформации и отрицательным отношением издателя ко всему советскому, Кант не мог себе позволить открытые и сколько-нибудь систематические свидания с русскими. Он мог лишь эпизодически, как бы случайно встречаться с каким-нибудь советским журналистом, притом даже такие встречи должны были быть короткими, чтобы не вызвать подозрений. Вот почему резидентура решила связать с Кантом Левченко.

Весной 1978 года Левченко сообщил ему о приказе, полученном резидентурой из "центра" и адресованном всем агентам, завербованным в Токио. КГБ отчаянно требовалась любая информация, касающаяся позиции Японии на предстоящих переговорах между премьер-министром Фукудой и президентом Картером.

На этой ежегодной американо-японской встрече на уровне глав государств, которую на сей раз было намечено провести в Вашингтоне, предполагалось согласовать внешнеполитический курс обоих партнеров. КГБ отдавал себе отчет в том, что добыть конфиденциальную информацию об этих переговорах — значит показать высший класс мастерства, какой только доступен разведке.

Кант сомневался, что он сможет оказаться полезен в таком сложном деле, но сказал, что, как бы там ни было, они с Левченко увидятся не раньше чем 9 мая. В этот день в СССР ежегодно отмечался День победы над нацистской Германией, и Левченко понадобилось специальное разрешение резидента, чтобы отправиться из посольства на встречу с Кантом в кафе "Дин-Дон", рядом с редакцией "Санкэй".

Кант торопливо шмыгнул в полупустое помещение кафе и прошептал, что должен срочно вернуться назад в редакцию, где сейчас в самом разгаре совещание "мозгового треста" его газеты. Бросив на стол большую пачку из-под сигар, он добавил:

— Вот кое-какой материал о переговорах Фукуды. Не вздумайте печатать это в вашем журнале!

Кант почти никогда не опускался до кражи засекреченных документов — это вообще не подобало "проводникам влияния", и Левченко решил, что "кое-какой материал" означает нечто вроде схоластического набора предположений и догадок, о чем, собственно, может пойти речь на совещании в Вашингтоне. Желая избавиться от возможной слежки, он затратил шесть часов, чтобы добраться от посольства до этого кафе, и был огорчен, что половина выходного дня пропала впустую.

На обратном пути, в машине, затормозив на красный свет, Левченко открыл свободной рукой конверт и потянул из него за край первый попавшийся документ. Ему сразу же бросились в глаза гриф "Совершенно секретно" и заголовок: "Проект положений, формулируемых премьер-министром Фукудой на предстоящих переговорах с президентом Картером".

Не ожидая получить столь важные бумаги, Станислав на сей раз не взял с собой специальное приспособление для мгновенного уничтожения документов в случае автомобильной катастрофы или задержания полицией. Вне себя от волнения, он вел теперь машину так осторожно, словно она была начинена опасной взрывчаткой. Он решил ехать как можно медленнее, и проделал весь путь до посольства под непрерывный аккомпанемент автомобильных гудков: его беспрестанно поторапливали нервничающие водители, напиравшие сзади.



Посольский комплекс был ярко освещен весенним солнцем, внутри царила праздничная атмосфера. Кто пил пиво, кто играл в волейбол или шахматы с гостями, прибывшими из других посольств советского блока.

В поисках резидента Левченко ворвался на теннисный корт, гордо прижимая к груди документ, который в ближайшие же часы покажет Кремлю, что замышляет японское правительство, что оно намерено делать в окружающем мире и какими внешнеполитическими проблемами обеспокоена администрация Картера.

— На этот раз я достал нечто необыкновенное, — сказал Левченко, завидев Гурьянова.

Махнув рукой своему партнеру по теннисной площадке, резидент извинился, и они вдвоем отошли в сторону.

— Что у вас? — отрывисто спросил резидент. Левченко показал ему совершенно секретный японский документ.

— Станислав, я не хотел вам говорить... — пробормотал Гурьянов. — Конечно, вы с Кантом молодцы, но позавчера мы получили этот же самый документ от Девея (кодовое имя редактора токийского издания газеты "Санкэй"). Он уже в Москве. Не расстраивайтесь, вы делали все как надо... Идите отдыхайте, развлекитесь чем-нибудь, выпейте...

Председатель КГБ Андропов лично выразил благодарность сотруднику токийской резидентуры, опекавшему Девея. Последний получил вознаграждение в размере трехсот тысяч иен. По настоянию Левченко, Гурьянов распорядился выплатить 150 тысяч Канту — это была максимальная сумма, которую он мог выдать своей властью.

Правило, согласно которому КГБ не считался с достижениями сотрудника только потому, что кто-то другой

успел чуть раньше добыть ту же самую разведывательную информацию, было, конечно, несправедливым. Более того, с точки зрения оперативной работы его можно назвать вредным.

* * *

После каждого выступления Брежнева Гурьянов требовал от Левченко, чтобы тот непременно разыскал нескольких японских журналистов и приготовил подходящий доклад о их реакции на брежневские речи.

— А как быть, если реакция окажется негативной? — спрашивал Левченко, едва удерживая смех.

— Тогда пошлите их в задницу. Словом, сделайте так, чтобы комар носу не подточил.

Оба прекрасно знали, что речь, произнесенная в Москве всего несколько часов назад, еще не переведена и на нее еще не успела откликнуться японская пресса. Но даже когда она появится в газетах, ясно, что нудные рассуждения Брежнева японцам, что называется, до лампочки. Обычно японские редакторы откликались на просьбу Левченко такими фразами: "Ну, он, конечно, опять нас ругает, не так ли? Ни на что больше этот маразматик не способен, — вот уж, действительно, старый п....н!"

Левченко, согласно кивая, торопливо записывал в блокнот: "Из хорошо осведомленных источников, близких к Министерству иностранных дел Японии, нам доверительно сообщают, что решительная и твердая позиция товарища Леонида Ильича Брежнева произвела глубокое впечатление на токийскую общественность. Сообщается, что энергичный стиль выступления тов. Л.И. Брежнева и присущая ему безупречная логика продемонстрировали правящим кругам Японии, что он по-прежнему уверенно руководит советской внешней политикой. Как раз в эти часы выступление Л.И.Брежнева тщательно изучается японскими политическими лидерами и, как следует ожидать, окажет существенное влияние на их позицию. Наряду с этим те же источники дают понять, что основное направление японской внешней политики едва ли претерпит в ближайшем будущем какие бы то ни было изменения".



Последняя фраза была рассчитана на аналитиков из КГБ и давала им понять, что все изложенное выше не стоит принимать всерьез. В то же время она, как видим, была достаточно осторожной, — на случай, если "центр" направит это сообщение в Кремль в том виде, в каком оно поступило от заграничной резидентуры. Пусть убедятся, что Брежнев действительно замечательный руководитель, а КГБ тоже на высоте положения, раз так оперативно зафиксировал японские отклики. Левченко приучил себя думать, что такая ложь относительно безобидна и представляет собой "наименьшее зло". Тем более что его кагебешное окружение требовало на каждом шагу куда более серьезной лжи, и последняя расцвела в этом ведомстве пышным цветом.

Характерным примером такой лжи и лицемерия был случай с полковником Кошкиным, руководившим в резидентуре "американской группой". Он только что вернулся в Токио из Москвы, где рассматривался вопрос о возможности его оставления на работе в "органах". "Американская группа" длительное время пользовалась услугами некоего японского агента, работавшего в министерстве иностранных дел и впервые завербованного еще в Москве Вторым главным управлением.

Выйдя на пенсию, этот японец утратил доступ к секретным документам, его контакты с американцами тоже прекратились. Они с Кошкиным полюбовно договорились, что ему больше нет смысла подвергать себя опасности, оставаясь, хотя бы номинально, советским агентом.

Пронников, продолжая придираться к деятельности токийской резидентуры, доложил по начальству, что агент потерян из-за нерасторопности Кошкина, который, дескать, одряхлел и не ловит мышей, страдая преждевременным старческим склерозом. Чтобы придать этому доносу большую убедительность, Пронников заручился служебной запиской, полученной от одного из офицеров Второго главного управления: в ней высказывалось мнение, что данный агент, несмотря

на уход из министерства иностранных дел, все еще может быть полезен резидентуре.

Кошкину объявили, что его увольняют из органов "на заслуженный отдых". Взволнованный полковник дознался о существовании служебной записки, сыгравшей такую неблаговидную роль, и разыскал во Втором главном управлении ее автора. Тот принес свои извинения и дал Кошкину письменное объяснение, где излагал всю историю: он написал эту бумажку по настоянию Пронникова, который заявил, что она требуется для оперативных нужд, не объясняя сути дела. После этого Кошкин бросился к парторгу Первого главного управления, и вмешательство парторга позволило отменить уже готовившийся приказ об увольнении полковника.

Что же касается Пронникова, то он и на этот раз вышел сухим из воды: руководству легче было примириться с его интригами и ложью, чем выступить против человека, явно злоупотреблявшего тем фактом, что "его знают в Политбюро".

Когда дело касалось кагебешного начальства в чинах повыше Пронникова, оказывалось, что этим людям сходят с рук вещи еще почище. Например, такая история. Поскольку Сингапурская резидентура работала непродуктивно, "центр" решил ее реорганизовать и заодно переориентировать в первую очередь на Китай. Там сменили руководство, и новый резидент, навербовав китайцев, принялся их руками восстанавливать и укреплять агентурную сеть, энергично отдавал распоряжения, обещая соответствующее вознаграждение. Реакция агентуры была неожиданной: одни из новых агентов отнеслись к сотрудничеству с недоверием, другие возмущались и просили оставить их в покое, третьи откровенно удивлялись, зачем это они понадобились иностранному резиденту. По своей работе они, при всем желании ничем не могли быть ему полезны. Выяснилось, что они никогда и не были советскими агентами. Они оказались просто знакомыми сотрудников резидентуры, иногда вместе выпивали или обедали, или имели с ними какие-то вполне ординарные, житейские контакты, никоим образом не связанные с нелегальной деятельностью.



Получалось, что вся агентурная сеть Сингапурской резидентуры существовала только на бумаге. В течение приблизительно двух лет резидентура аккуратно поставляла "центру" донесения, исходившие якобы от агентов, но в действительности фабриковавшиеся своими же сотрудниками. Хуже того, ответственные работники "центра", со своей стороны, санкционировали включение этих мнимых агентов в состав агентурной сети и вполне довольствовались приписываемой им информацией, поступавшей от резидентуры. Следовательно, привлекая к ответственности фальсификаторов, работавших в этом сингапурском гнезде КГБ, одновременно надо было поставить вопрос и о служебных упущениях московского начальства. На это пойти не решились, скандал был замят, хотя слухи о таком конфузе стали достоянием всего Седьмого управления.

Ввиду особой важности токийской резидентуры начальникам разных отделов Первого главного управления ничего не стоило выдумать тот или иной благовидный предлог для командировки в Японию. Фактически эта публика приезжала, чтобы отдохнуть, развлечься и побродить по магазинам японской столицы; но, чтобы оправдать командировку, они, конечно, посещали резидентуру и беседовали с резидентом и отдельными офицерами. Одним из таких визитеров был вице-адмирал Усатов. С разрешения Гурьянова, Левченко сделал ему краткий доклад, обращая внимание адмирала на возмутительный служебный промах, случившийся в "центре" и граничащий с должностным преступлением.

Среди массы документов, полученных резидентурой от Ареса со Швейком и исходивших от японской контрразведки, были блестяще сработанные отчеты о различных группах международных террористов и методах их деятельности. Не получая от "центра" оценки этих материалов, переправленных в Москву, резидентура забеспокоилась и запросила, в чем дело. Выяснилось, что в "центре", якобы по причине нехватки переводчиков, кто-то распорядился уничтожить эти документы, даже не читая. Докладывая Усатову об этом нелепом случае, Левченко процитировал публичное заявление тогдашнего

шефа ЦРУ Вильяма Колби, который утверждал, что с КГБ никто не может сравняться в сборе информации, но сплошь и рядом это ведомство не способно эффективно оценить и использовать собранные сведения.

— Похоже, данное происшествие подтверждает, что господин Колби был близок к истине, — заключил Левченко.

— Да, боюсь, этот осел Колби прав, — важно заметил Усатое. — В любом случае, такое отношение к документам противоречит установкам партии. Ладно, я позабочусь, чтобы такое больше не повторилось. Денег у нас хватает, и ничего не стоит нанять еще пару-другую переводчиц.

Однако и после визита Усатова ничего не изменилось: "центр" продолжал игнорировать многие документы, поступающие из резидентуры, в том числе и ценные японские материалы, относящиеся к терроризму.

Левченко считал, что эти и многие другие беды проистекают оттого, что почти никто кругом не заинтересован в настоящей работе. Главное в этой системе для многих — борьба за существование и забота о продвижении по службе. Такие люди, как сам резидент или, скажем, водитель-оперативник, представляли собой исключение: Гурьянов — потому, что все еще верил в грядущее совершенство коммунистического общества, Жаворонков — потому, что, не задумываясь о высоких материях, отстаивал интересы своей родины — так, как он их понимал. Были и другие, старавшиеся во всем быть на высоте положения, — насколько позволяла система. Но они составляли явное меньшинство. А подавляющее большинство, далекое от всяких идеалов, понимало связь вещей упрощенно, руководствуясь формулой: что хорошо для КГБ, то хорошо и для меня. То есть — будет процветать это ведомство, — значит, и я не останусь в проигрыше. Поэтому они служили КГБ в общем старательно и умело, порой — инициативно, изобретательно, блестяще. Благодаря этому громоздкая машина КГБ функционировала в целом так, как хотелось бы ее хозяевам, — одновременно деформируя и калеча души своих бесчисленных сотрудников. Пусть неэффективная, пусть негуманная, она работала полным ходом, и в этом было главное.

*Перевод с английского Иосифа Косинского*



*БИБЛИОТЕКА БЕСТСЕЛЛЕРОВ "ВРЕМЯ И МЫ"*

В ближайшее время выходит в свет:

**ДЖОН БАРРОН "КГБ СЕГОДНЯ"**

**Большинство наших читателей знакомо с именем Джона Баррона —автора нашумевшей книги "КГБ", переведенной на многие языки мира, в том числе и на русский.**

**Книга "КГБ сегодня" — новейшее исследование того же автора, рассказывающее о самых зловещих сторонах и тайных пружинах деятельности советской секретной полиции в наши дни.**

**На примерах подрывной деятельности КГБ в Соединенных Штатах и Японии Джон Баррон рисует зловещую картину политического бандитизма, инспирируемого Москвой во всех странах мира.**

**В книге подробно раскрывается механизм деятельности КГБ. Джон Баррон рассказывает о том,**

*КАК ДЕЙСТВУЕТ КГБ СЕГОДНЯ -ИВ СССР, И В ОСОБЕННОСТИ ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ,*

*КАК ГОТОВЯТСЯ КАДРЫ БУДУЩИХ РАЗВЕДЧИКОВ И ВЕРБУЕТСЯ АГЕНТУРА НА ЗАПАДЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ СРЕДЫ САМЫХ КРУПНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ,*

*КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КРАЖА ПЕРЕДОВОЙ ЗАПАДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ,*

*КАК КГБ ВЛИЯЕТ СЕГОДНЯ НА ВНЕШНЮЮ И ВНУТРЕНЮЮ ПОЛИТИКУ МНОГИХ ГОСУДАРСТВ.*

**Книга написана в форме захватывающего детектива, где тесно переплетаются судьбы политических убийц, интриганов и их многочисленных жертв. В то же время она является важнейшим обличающим документом нашего века.**

**Объем книги — 420 страниц. Цена — 22 доллара.**
**По предварительным заказам — 18 долларов.**
**Заказы и чеки высылайте по адресу:**
**Time and** We
**475 Fifth ave, suite 511-A**
**New York, New York**
10017

# ГАВРИИЛ ГЛИКМАН НА ЗАПАДЕ

Для любителей и знатоков искусства Мюнхен неизменно связывается с именами многих художников, в том числе и русских. Достаточно начать с имени Кандинского, для которого "мюнхенский период" был одним из важнейших в его творчестве, и закончить именем Алексея Явленского, художника широко известного на Западе. Русские художники подолгу жили в Германии, учились, работали там и затем возвращались в Россию.

Гавриил Гликман проделал обратный путь.

Он учился и работал в Ленинграде и ленинградцам хорошо знакомы многие его произведения, например скульптурный портрет Баха в фойе Ленинградской филармонии.

Его мастерская была своего рода клубом, куда люди приходили не только посмотреть новые работы мастера, но и поговорить об искусстве, и не только изобразительном, но и о литературе, и о музыке, тем более что хозяин мастерской — страстный меломан. Не случайно в списке его работ значатся портреты многих музыкантов — Чайковского, Скрябина, Шостаковича, Станислава Нейгауза, Мстислава Ростроповича, близкого друга художника, который, кстати, немало способствовал организации выставок Гликмана на Западе.

Среди друзей Гликмана и посетителей его мастерской были и Ахматова, и Мейрехольд, и Зощенко, и Сергей Прокофьев.

Однако желание хотя бы на старости лет (художнику за семьдесят) увидеть Запад, работать не по указке, показывать свои картины не только друзьям в собственной мастерской, а иметь возможность выставляться и знакомить со своим творчеством широкую публику — все это привело Гавриила Гликмана к решению эмигрировать.

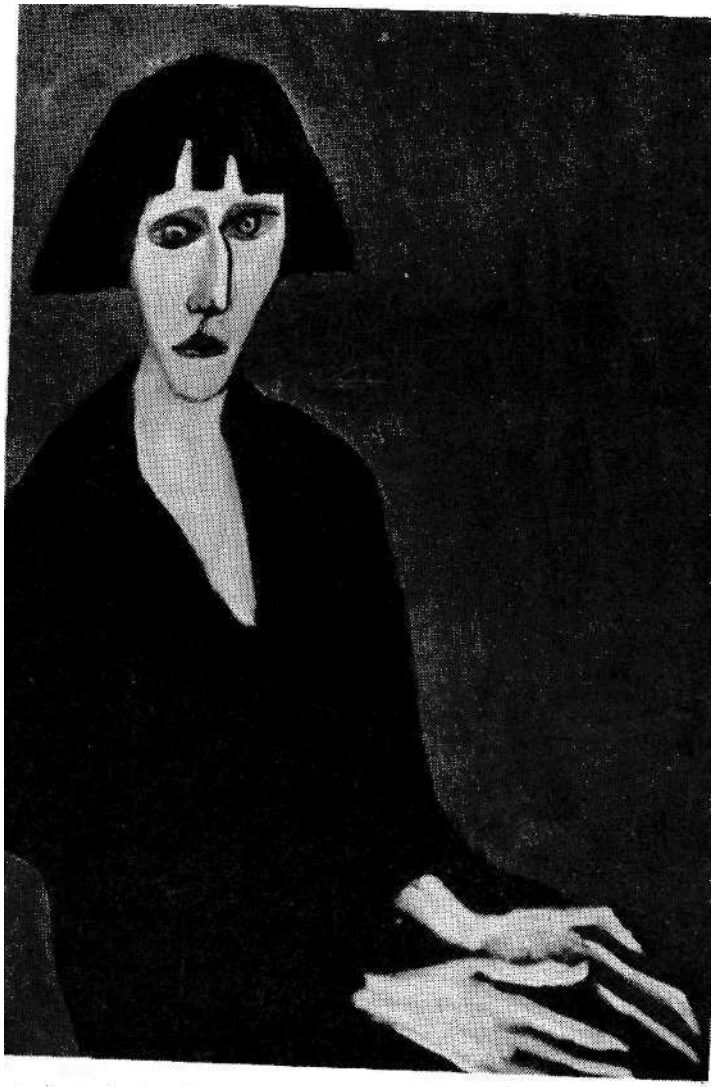
Уже около трех лет Гликман живет на Западе. За это время у него было несколько выставок — первую в Мюнхене — доброжелательно встретила не только мюнхенская публика, но и критики Федеративной Германии. Многие газеты поместили на нее прекрасные отзывы. Затем выставка в Вашингтоне, Роттердаме, в Лондоне — и снова в Мюнхене.

Круг интересов Гликмана-художника разнообразен. Здесь не только портреты, но и множество жанровых картин, в том числе и на еврейские темы. Чувство юмора — одна из черт характера художника — присуща и его полотнам. Поэтому так неоспоримо симпатичны его "еврейские картинки".

Если же характеризовать творчество Гликмана в целом, то надо сказать, что независимо от темы, в любом его произведении всегда ярко проявляется его декоративный дар. Гликмановские портреты — одновременно и портреты, и декоративные полотна. Его жанровые еврейские вещи — это и еврейские типы и орнаментальные композиции. Язык произведений Гликмана ясен и понятен любому. Эти ясность, простота и декоративность — главные черты его художественного почерка.

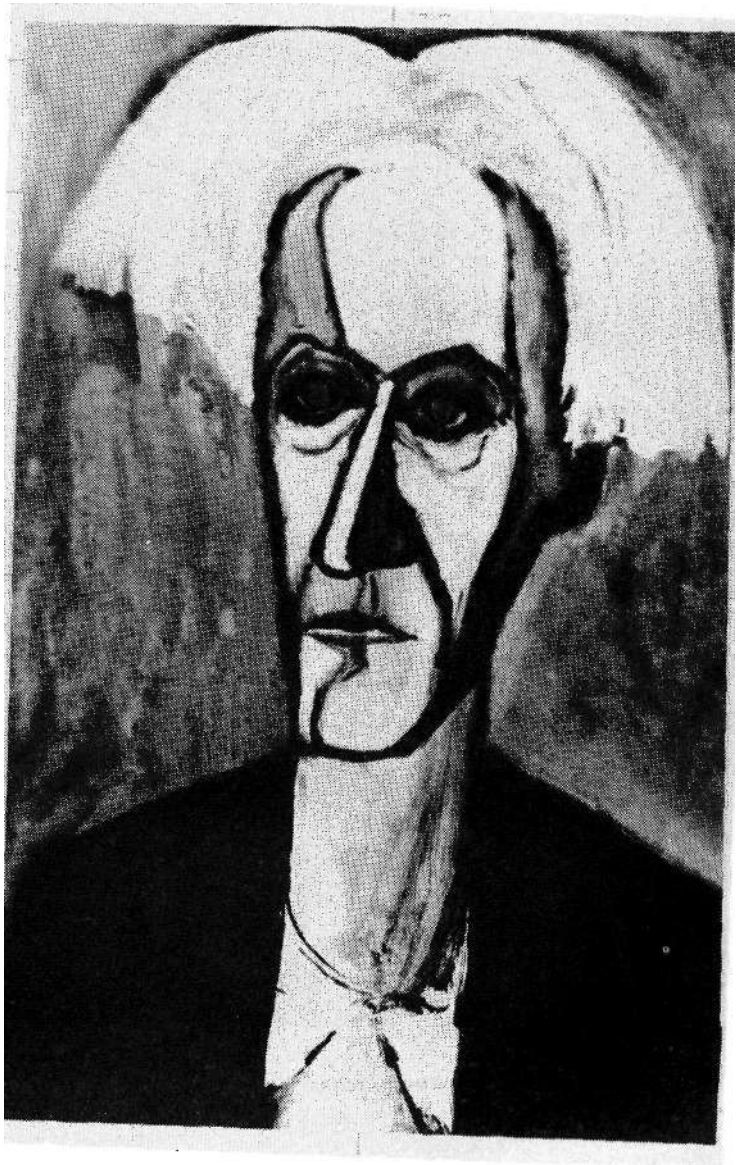
*Валентин* ***ЗАРУБИН***

Борис Пастернак



Марина Цветаева

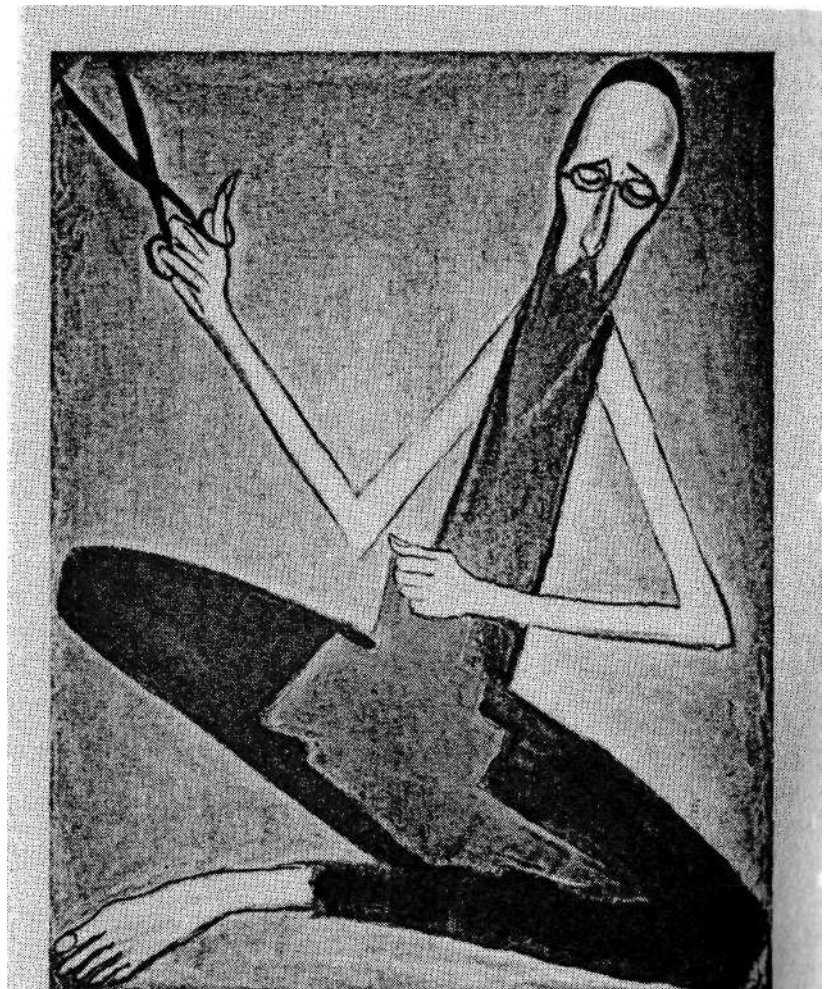




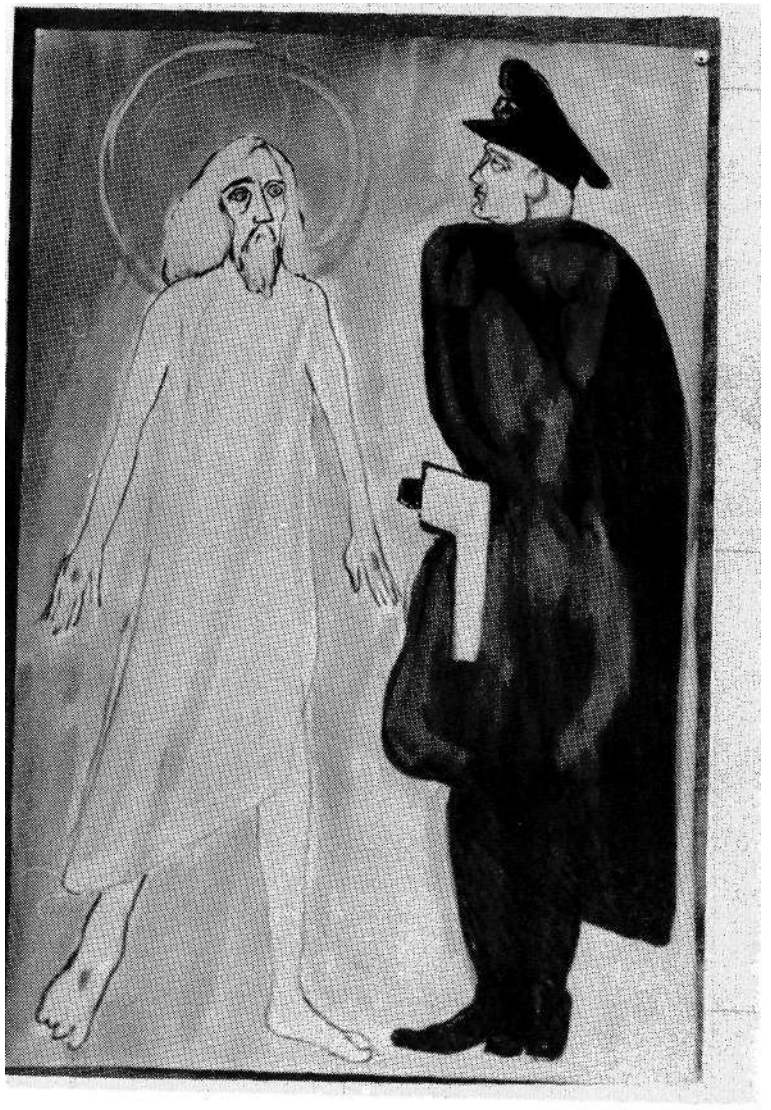
Станислав Нейгауз

Еврейский столяр





Еврейский портной



Христос и Пилат

Женский портрет

## КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Борис ХАЗАНОВ (Геннадий Файбусович) — родился в 1928 г. в Ленинграде. Учился на классическом отделении Московского университета, откуда был исключен за антисоветскую пропаганду. Приговорен к восьми годам лагерей. В 1955 г., после освобождения окончил медицинский институт и работал как врач в Калининской области и в Москве. Занимался литературной работой. Публиковался на Западе, за что был подвергнут преследованиям со стороны КГБ. В 1982 г. эмигрировал в Германию. Хазанов — автор повестей "Час короля", "Я — Воскресение и Жизнь", философского эссе "Письма без штемпля", книги "Запах звезд" и др.

Глеб СЕМЕНОВ — см. № 70.

Алексей ЦВЕТКОВ — родился в 1947 г. в Западной Украине. Пишет стихи с шестнадцати лет. Учился в МГУ на историческом факультете, затем на факультете журналистики. Работал как корреспондент газет, как переводчик, сторожем. В СССР опубликовал только одно стихотворение. В 1975 г. эмигрировал в США. Окончил аспирантуру Мичиганского университета. Преподает в Карлайле (Пенсильвания). В издательстве "Ардис" вышло два сборника стихов Цветкова.

Борис ПОЛЯКОВ — родился в 1940 г. в Ленинграде. В 1970 г. закончил философский факультет ЛГУ. Эмигрировал в Израиль в 1976 г. Публикуется как прозаик и поэт в русскоязычной прессе.

Лев ТИМОФЕЕВ — рукопись получена по каналам самиздата.

Исраель ЭЛЬДАД — писатель и публицист. Родился в 1910 году в Польше. Философское и историческое образование получил в Венском университете. В 1940 г. приехал в Израиль. Активный деятель подполья. Был арестован и отбывал срок в британской тюрьме, из которой бежал. После Шестидневной войны (1967) — один из основателей "Движения за неделимый Израиль". Преподает историю сионизма и еврейскую философию в Хайфском технионе. В марте 1977 г. удостоен премии Черниховского за перевод семи томов сочинений Ф.Ницше.

Илья ГЛЕЗЕР — биолог по профессии. Его труды в области строения нервной системы получили международное признание. В 1972 г. Глезер был арестован и как сионист получил шесть лет лагерей и ссылки. После выхода на свободу эмигрировал в Израиль. В настоящее время живет и работает в Нью-Йорке.

Мира БЛИНКОВА — родилась в Баку. По образованию филолог. Была научным сотрудником Института истории искусств АН СССР. Выступала как критик в журналах "Новый мир", "Дружба народов", "Москва", в "Литературной газете". В Израиле с 1977 г.

Джон БАРРОН — известный американский публицист. Родился в 1930 г. Автор книг: "КГБ", "Пилот МИГа", "Гибель прекрасной страны" (в соавторстве с Энтони Полом), "КГБ сегодня" и др.



*БИБЛИОТЕКА БЕСТСЕЛЛЕРОВ "ВРЕМЯ И МЫ"*

*ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД*

**СУДЬБА СОВЕТСКИХ ПЕРЕБЕЖЧИКОВ,**

ЭТО КНИГА О ПОБЕГЕ НА ЗАПАД ВИДНЫХ СОВЕТСКИХ РАЗВЕДЧИКОВ, ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ И ДИПЛОМАТОВ (ИГНАТИЯ РЕЙССА, ВАЛЬТЕРА КРИВИЦКОГО, ГРИГОРИЯ БЕСЕДОВСКОГО, ГЕОРГИЯ АГАБЕКОВА, АЛЕКСАНДРА ОРЛОВА, БОРИСА БАЖАНОВА И ДР.), О ИХ СТРЕМЛЕНИИ ОТКРЫТЬ ЗАПАДУ ГЛАЗА НА СТАЛИНСКУЮ РОССИЮ, О ИХ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЗАПАДНЫМИ РАЗВЕДКАМИ, О ПРОИСКАХ СОВЕТСКОЙ АГЕНТУРЫ В ЕВРОПЕ И НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ.

***КНИГА РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ЗЛОВЕЩАЯ ТЕНЬ РАСПРАВЫ НЕОТСТУПНО ПРЕСЛЕДУЕТ КАЖДОГО СОВЕТСКОГО ПЕРЕБЕЖЧИКА. РАНО ИЛИ ПОЗДНО РУКА СОВЕТСКОЙ ПОЛИЦИИ НАСТИГАЕТ ОДНИХ, И ПЕРЕД ВЕЧНОЙ УГРОЗОЙ РАСПРАВЫ ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ ЖИЗНИ ЖИВУТ ДРУГИЕ.***

ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД — ИЗВЕСТНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ И ПУБЛИЦИСТ — ПРЕДЛАГАЕТ ЧИТАТЕЛЮ ДО СИХ ПОР НЕИЗВЕСТНУЮ, УНИКАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СОБРАННУЮ ИМ ВО МНОГИХ СТРАНАХ МИРА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НАД КНИГОЙ.

КНИГА ПЕРЕЖИЛА НЕСКОЛЬКО ИЗДАНИЙ, ПЕРЕВЕДЕНА НА МНОГИЕ ЯЗЫКИ МИРА И СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ ВЫХОДИТ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

*Цена книги - 15 долларов. Пересылка - 1 доллар.*
*Заказы и чеки высылать по адресу:*

**Time and We**
**475 Fifth ave, room 511 - A**
**New York, New York, 10017**

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА
OVERSEAS PUBLICATIONS

**Мария Разумовская: МАРИНА ЦВЕТАЕВА. Миф и действительность.**

Перевод с немецкого Е.Н.Разумовской-Сайн-Витгенштейн.

Первая полная биография Марины Цветаевой на русском языке.

416 стр. 7 фунтов стерлингов

**Виктор Некрасов: САПЕРЛИПОПЕТ, ИЛИ ЕСЛИ Б ДА КАБЫ, ДА ВО РТУ РОСЛИ ГРИБЫ**

Очень своеобразная повесть-исповедь известного советского писателя.

112 стр. 4 фунта стерлингов

**Лев Друскин: СПАСЕННАЯ КНИГА. Воспоминания ленинградского поэта**

Полиомиелит, поразивший автора в шестимесячном возрасте, навсегда приковал его к постели. В 12 лет он стал победителем конкурса "молодых дарований". "Спасенная книга" — проза, удачно включающая стихи — это светлый рассказ о прозрении пропагандиста счастливой советской жизни. В книге множество портретов писателей.

410 стр. 6 фунтов

**Overseas Publications Interchange Ltd**
**8, Queen Anne's Gardens, London W4 1TU, England**

В США книги можно заказать в:
**Effect Publishing**
**501 Fifth ave, suite 1612, New York**
**New York, 10017**



**Ел. ГЛЕЗ**

## НЕВИДИМЫЕ ПИСЬМА

*(223 стр.)*

*Ел. Глез (Илья Исаакович Глезер) — по профессии и по призванию прежде всего биолог. Большую часть своей жизни он провел в Москве, и его труды в области строении нервной системы получили международное признание.*

*В 1972 г. Глезер был арестован и как сионист получил шесть лет лагерей и ссылки.*

Книга "Невидимые письма" — это воспоминания Глезера об этих шести годах. Однако воспоминания не совсем обычные. Лагерная тема, уже так много раз присутствовавшая в нашей литературе, в его книге получила неожиданное освещение.

Ее первая часть "Лефортовские сказания" — это прежде всего раздумья автора над судьбой еврея вообще. Потому так логичны библейские реминисценции и мотивы, которые он вводит в текст. А форма писем, которую избрал автор, придает его воспоминаниям интимную, камерную интонацию.

Вторая часть — "Богучанские чаепития" посвящена годам ссылки. Главный герой ее не столько сам автор, сколько русские люди, с которыми пришлось столкнуться Илье Глезеру в ссылке. Яркие, колоритные характеры сибиряков надолго запомнятся читателям.

Казалось бы, воспоминания, даже беллетризованные, но посвященные лагерю и ссылке, не могут носить оптимистического характера. И тем не менее "Невидимые письма" написаны оптимистом.

*Оформил "Невидимые письма" тоже оптимист. Имя его Вагрич Бахчанян.*

Стоимость книги 12 долларов. Плюс 1 дол. за пересылку.
Заказы и чеки направлять по адресу:
I.Glezer
106 Pinehurst ave. , A-34
New York, New York
10033

## ЖУРНАЛ "ВРЕМЯ И МЫ" — 1984

### *УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:*

**Стоимость годовой подписки в США — 43 доллара; для библиотек — 48 долларов; с целью экономической поддержки журнала — 50 долларов. Заказы и чеки высылать по адресу главной редакции:**

**Time and We**
**475 Fifth Ave, suite 511-a. New York. New York 10017**
**Цена в розничной продаже - 8.50**

**Стоимость подписки в Израиле устанавливается израильским отделением журнала "Время и мы". Заказы и чеки высылать по адресу отделения: Иерусалим, Талпиот мизрах, 422/6 (зав.отделением Дора Штурман-Тиктина).**

**Подписка из Франции, Германии и других стран мира может осуществляться как через главную редакцию в Нью-Йорке, так и через представителей журнала.**

**При подписке в главной редакции чеки высылаются только в американских долларах (т.е. это должны быть чеки американских банков или иностранных банков, имеющих в Нью-Йорке отделения).**

**При подлиске через представителей журнала (или его отделения) стоимость подписки:**

**— во Франции — 350 франков; для библиотек — 400; с целью экономической поддержки журнала 450 франков;**

**— в Германии — 115 немецких марок; для библиотек — 125; с целью экономической поддержки журнала — 140 марок.**

**Подписка авиапочтой — 86 долларов.**



"ВРЕМЯ И МЫ" - 1984

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Фамилия . . . . . .

Имя . . . . . .

Адрес . . . . . .

Подписной период . . . . . .

**Прошу оформить подписку на журнал "Время и мы" на . . . . . год. Высылать с номера . . . . . .**

**Журнал высылать обычной /авиа/ почтой по адресу**

**Подпись** . . . . . .

**Примечание редакции:** чек выписывается по-английски на имя журнала "Время и мы" /**Time and We**/.

Из Германии, Англии, Франции и других стран чеки могут высылаться либо непосредственно по адресу главной редакции, либо в адрес представителей журнала.

Подписка оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США, и высылается по адресу: "**Time and** We"

**475 FIFTH AVENUE, SUITE 511-A, NEW YORK. NEW YORK 10017. Tel. (212) 624-3014**

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

MAIN OFFICE:
**475 Fifth Ave, suite 511a, New York, N.Y. 10017**

OCR и вычитка - Давид Титиевский, июль 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

**На четвертой странице обложки:**
**Гавриил Гликман. Дети перед газовой камерой**